БОР. ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОРИС ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

★

ТОМ

IV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОРИС ПИЛЬНЯК

МАТЬ-МАЧЕХА

★

МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Валовая, ул., 28.
Гл. № А-41793.X.20 Гиз. № 32256.
Заказ № 2243. Тир. 5 000 экз.
14¼ л.

ПРИ ДВЕРЯХ

Так, когда вы увидите все сие,
знайте, что близко, при дверях.
Матф. Гл. 2, 33.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В иные времена купчиха Ольга Николаевна Жмухина поставила под Сибриной Горой водокачку; водокачку зовут кратко — Ольга Николаевна. Воды Ольга Николаевна уже не подает, но гудит попрежнему, в восемь, в два, в четыре, — гудит под Сибриной Горой, — а на другом конце города чиновник Иван Петрович Бекеш, просыпаясь утрами под гуд Ольги Николаевны, в полусне, чует ту прекрасную необыкновенную грусть-боль, которая уже одна говорит, как прекрасна человеческая жизнь, как прекрасны человеческие весны. Иван Петрович был однажды — два дня — на Волге, и ему кажется, что Ольга Николаевна гудит, как «Кавказ и Меркурий», — кто не знает, как сладчайшая грусть щемит веснами Волгу и как алой холодной весенней зарей хочется тогда обнять мир? Иван Петрович пьет морковный чай и идет на службу в финансовый свой отдел. Жизнь Ивана Петровича скудна.

Ольга Николаевна расположилась под Сибриной Горой. На Сибриной Горе, за валом, около кремлевских ворот, помещается клуб, — раньше был общественный, теперь коммунистический. В два гудит Ольга Николаевна, и в два приходит позавтракать доктор Андрей Андреевич

Веральский. Раньше перед его приходом буфетчик говорил мальчику: «мальчик, освежи» — и мальчик освежал языком своим икорные бутерброды, прежде чем подать их доктору с лафитником водки. Теперь подают доктору пустой лафитник, и доктор уже сам наполняет его из жилетного кармана, из соответствующего пузырька. Но по-прежнему после завтрака доктор кричит через форточку и через улицу себе во двор:

— Илья, подавай, — и едет по пациентам, подпирая желудок своею тростью. —

Рождество.

Прошел кто-то, некий сноб, и распорядился, чтобы все люди чувствовали торжество, прятали свою нищету, отказались на неделю от мелочей и мыслей, чтобы острее чувствовать — заштопанные — и нищету, и убожество, и тоску, и обыденщину. Впрочем, радость человеческая — всегда радость и всегда благословенна. Рождество.

В четыре, ради Рождества, Ольга Николаевна не гудит. Подлинная же Ольга Николаевна, купчиха Жмухина, умерла два Рождества назад, в испуге, когда реквизировали у нее копченых гусей и меха. — На стенах в клубе висят рукописные афиши. Буфетчик знает, что оркестр кавалерийского дивизиона в сочельник играет у военкома на балу, на рождении его жены, первый и четвертый дни — в клубе, — что под старое новогодье военспецы дивизиона устраивают загородную поездку. В сочельник все ходили к Иоанну Богослову, смотреть нового церковного старосту — командира дивизиона товарища Танатара; товарищ Танатар, красавец-кабардинец, в кожаной куртке и в сапогах со шпорами, продавал свечи и ходил с тарелкой. Люди режут кур, меняют рубашки на масло, без сахара на сахарной свекле пекут сладкие пироги, — и за неделю до праздников опустели аптеки.

И мороз, и метель.

В каменном доме Веральского, глухом, как ларь, на Сибриной Горе, жить можно в двух комнатах, ибо в остальных мороз и иней. И первый день, первую ночь Ольга слушала, как идет мороз: мороз подлинно шел, треща и звеня морозными алмазами, ночь была синей и колкой, как стекло, и луна казалась заброшенной случайно. Ольга в шубе, — как всегда в шубе, — стояла у форточки и слушала: шел мороз, треща то там, то тут, то в пустой гостиной, и шаги прохожих скрипели на много переулков. А утро пришло — восковое, воздух в морозном солнце был желтым, как воск, — желтым, как воск, было солнце, — как лицо мертвеца. Термометр упал до тридцати двух — Илья говорит, что с воздуха падают птицы. И утром промчал в шинели в накидку товарищ Танатар. А вечером звонил кто-то по телефону и сказал, что с Урала идет буран, и к ночи метель пришла. — О буране и о телефоне: знаете, предреченное скучно уже, — так говорят: — кто-то по телефону сказал, что идет буран с температурой минус тридцать. Ольге стало на несколько минут необыкновенно хорошо, — метельно, когда кружится, гудит и поет все... Все же, должно быть, есть ведьмовское наваждение, ибо — на что же похожи снежные эти метельные космы, как не на ведьмовские? Мчалась, плясала, выла, стонала, кричала метель — над полями, над городом, над Сибриной Горой, в пустой гостиной. Было бело, бело, бело. Снежные космы стали сплошными дыбами, в них опускались, поднимались, качались — дома, переулки, деревья. Над домом, в доме пело, стонало, кричало, и в доме можно было быть только в углу у печки. Ольга думала, что революция — как метель, и люди в ней, как метеленки. Ольга думала, что она умерла от метелей. Ольга была в шубе и в валенках и — как много уже дней — жалась к печи, устав думать и устав читать.

И в метель Ольга читала дневник Ивана Петровича Бекеша.

Перед Ольгой было пять лампад. Диван стоял корытцем — сиденьем к печке, — диван был завален меховыми шубами. Поблескивали тускло изразцы. А за стеной, в пустых комнатах, гудела метель.

11 июля 1913 года.

«Бал... у Ольги Николаевной Жмухиной.

Разгримировавшись, отправились вместе с... Волынской в дом. Там пир горой. Старики и пожилые люди заняли две комнатки, а наши господа — отдельно изолированную от посторонних взглядов. Самуил Танатар посадил меня рядом, а Волынская напротив. Только что сел за стол и выпил рюмку простого — Волынская лезет с просьбой «не пить много»... Она дала мне слово провести вечер и итти ее провожать, только если я не напьюсь. Не прошло и полчаса — пошли вдурь, стали кричать: «подавай вина», начались песни, гром, гам, битье посуды... Организм начинает просить немного пить меньше... Сам начинаю уже пьянеть... Чтобы не напиться, подхожу к Волынской: — «Ну, как, домой иду провожать я вас или Танатар?» — она в это время села с ним и говорила насчет проводов. — «Не знаю, — и добавила: — Вы ведь, Ваня, пьяны»... Ответив на ее слова «хорошо!», сам пошел в другую комнату, там сидел доктор Веральский, отец моей любимой Оли; увидя меня, он посадил и молча угостил чем-то из стакана. Я на зло Волынской выпил — и тут же опьянел. Меня товарищи отвели в сад, где угостили «сельтерской» и разошлись. Я уселся на лавку и долго плакал, зачем я так здорово напился, и вспоминал об Оле Веральской, которую одну люблю... Зачем я так напился и отравил себе весь вечер, — все. Одному побыть долго не пришлось: — пришла Волынская, уселась около меня, обняла

и начала читать нравоучительные морали: «не надо пить вина так много»... Не теряя своего правильного рассудка, говорю: — «я не виноват — во всем виновен Самуил, я слышал как вы уговаривались итти провожать. И вот, услышав и доказав все, теперь я сижу вдрызг пьяный; что хотели мы совершить — нельзя теперь, потому что пьян»... Она крепко прижалась ко мне, обняла; я целовал ее руки, твердя: «простите меня, простите», и умолял ее, чтобы она не уходила от меня, прибавляя: «я знаю, что мы видимся в последний раз» — при этих словах я рвался от нее и от Танатара (последний находился все время с нами)... Она меня не пускала, но я убежал... Танатар поймал меня, усадил опять рядом с ней. Она обняла меня крепко и проговорила: — «Ваня, если ты меня любишь, то не сделаешь над собой самоубийства»... И, бурно схватив меня крепче в свои объятия, впилась губами в мои губы... и замерла... Столько было в этом поцелуе участия, отчаяния, исступления, страсти и такая беззаветная любовь... минута проходила за минутой, и каждая была вечностью, и каждая была полна воспоминаниями (об Оле Веральской)... Да!.. этим поцелуем она дала мне дивную иллюзию счастья, только иллюзию... но все же счастья!.. С уходом от меня Волынской (пошла танцовать), увидя Танатара, гнал его от себя, крича в лицо: «негодяй, подлец! Ты разбил мое счастье!»... При этих словах даже заплакал. «Я с вами больше не знаком»... Танатар помочил мне голову, угостил «сельтерской», после приема которой меня стошнило. Ребята решили воедино уложить меня спать. Но нет! чорта лысого! я ни с кем не желал итти, кроме Волынской... Она проводила под руку (сам не мог) до постели... и собиралась уходить — но не тут-то было. Я держал ее и распевал:

Не уходи, побудь со мною,
Мне так отрадно и легко.

Перед глазами стояла она — я видел прекрасную пикантную фигуру — и видел густые, отливающие золотом, волосы (шиньона) — белые, как снег, зубы за яркими чувственными губами... и меня пронизывал электрический ток... Да. С ч а с т ь е было так близко, так близко (досталось Танатару)... О, счастье!..»

12 июля 1913 года.

«Проснулся в первом часу дня и прямо из товарищей лицезрел Васю Федорова. Интересно, как он спал — голова на подушке, а все туловище на грязном полу. Заглянули в зеркало — и, боже! отскочили колбасами от него. Мой костюм весь измялся — в некоторых местах был обтошнен — был весь покрыт пухом от перины. Исполнив утренний обряд, пошли в сад. Там встретили Танатара — проходил мимо нас, молча, из глубины сада — скорее всего там спал. Вид его внушал ужас: перед обтошнен, зад и спина выпачканы землей, точно его таскали за ноги. После Танатара встретились со всеми девицами — они шли из беседки, где спали. Постепенно, но все собрались. И, боже, сколько было смеху! Первым рассказывал лунатик Федоров — не стоя на ногах, заявился в беседку, где только что улеглись девицы после бала, желает всем покойной ночи — берет первое попавшее платье, кофточку и шляпу, надевает и вздумал плясать. Один малознакомый малец весь ужин и половину бала просидел с хозяюшкой Ольгой Николаевной в фаэтоне на дворе, куда им носили официанты ужин и вино; все это сопровождалось поцелуями и препикантными разговорами. Девицы рассказывали: не успели раздеться все — вваливается вдрызг пьяный Самка Танатар и заявляет, что он пришел с ними спать. Девицы, конечно, все перепугались и попрятались под одеяла. На их умоления, просьбы и приказания очистить своим присутствием беседку — остался холоден и

безобразен... Тогда девицы, не обращая внимания на стыд, вскочили с постели, ухватили его и вытолкали из беседки... Сейчас же за Танатаром пришел лунатик Федоров, за чаем было много смеху, потому что он был мил и не безобразничал, как Танатар». —

Счастье. Счастье и смех!..

Где-то от детства затерялась нянина сказка: метельную косму — снежную метельную воронку — рассечь острым ножом, — убьешь метелину внучку, метеленку: капнет капля холодной белой метеленкиной крови, и метеленкина кровь принесет счастье: — с ч а с т ь е... Надо верить — надо выйти в метель, надо подстеречь метельную метеленку, что кружится беззаботно в белом хороводе,— тогда будет с ч а с т ь е.

— Ну, а если ни во что не верить?

— Счастье! Счастье!

И Ольга знает: она — снежная эта метеленка. Это ее убили. — Мечется, мчится метель: о ней говорили вчера в телефон. На диване лежат меховые шубы. Горят пять лампад, поблескивают изразцы. Храпит доктор Веральский. Дневник упал на колени, слезы упали на колени... Это о н е м. Голова упала на руки.

Ну, а если ни во что не верить? Если, как метеленку, — убили? — не печь же пироги без сахара на сахарной свекле, как советовал доктор, пусть это было бы радостно отцу... Нет — не убили, а — убил. Стихия не мыслит, в стихии нет зла. Жизнь Ольги Веральской была очень проста: гимназия, курсы, красный фронт, — где ни пойдешь, ни осудишь, — и он, э т о т... Темная штабная теплушка, запах лошадей, тусклый фонарь на стене, голова лошади и — его голова, черная, как смола, черная борода, черные брови, черные глаза, красные

губы, — боль, боль и ужас, ужас, ужас и мерзость. И все.

Дневник упал на колени, слезы упали на колени. Горят лампады, — глаза, как фонари в осенний дождь. Голова упала на руки — тяжело, больно.

Телефонный звонок.

— Да?

— Доктор Федоров.

— Ну, а если ни во что не верить? Нет, нельзя жить. Ведь одно мещанство. И когда — срок? Нет, сказок нет!

...Рождество.

...Пироги. Пироги с бараниной, на бараньем сале. Конфеты из тыквы. И — пельмени.

...Бал. — Бал-маскарад, на четвертый день.

— Ольга, Ольга Андреевна. Мне очень больно, я очень люблю вас... не надо грустить... Оленька .. Что же, живем за счет всяческих углеводов. Нет, не то, Оленька, Оленька, надо бодриться. Очень пусто...

Танатар? — Не надо, не надо, не надо!

— Нет, Вася. Что же... Все, что со мной — это называется неврастенией, должно быть. И все же тоскливо быть в поношенном платье, в скошенных ботинках, стыдиться их и быть радостным от фунта баранины. Ничего нет.

Ольга склонила голову; гребенка Ольги сшита нитками очень тщательно, чтобы было незаметно, совсем незаметно и попрежнему красиво.

Доктор Веральский, Андрей Андреевич, в валенках и в шубе, позевывая, вышел из своей комнаты и пролез к печке.

— Там, Оленька, я баранинышки привез. Поджарить, полакомиться бы — или на суп?.. Сказала бы Илье.

— Папа, Ольга Николаевна Жмухина умерла — отчего?..

— От разрыва сердца. Испугалась, когда делали обыск. Нашли под кроватью мертвой... А — что?

— Кто она такая была?

— Как человек?.. — Так, развратная бабенка... Но жертвовательница... Так скажи же — поджарить.

Доктор Андрей Андреевич зевнул сладко.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Под сочельник по городу подосланный человек разносил следующее объявление:

Мм. Гг.

Если вы только жилаете получить следующие товары, как-то:

сахар раф.	. . . . .	1000	р. ф.
сахар песок	. . . . .	800	» »
баранина	. . . . .	450	» »
свинина	. . . . .	700	» »
мясо черкасск.	. . . . .	250	» »
мясо русск.	. . . . .	225	» »
мясо конское	. . . . .	100	» »

то сообщите, чего и сколько вы жилаете, нашему подосланному человеку в 6 час. ст. вр., и все указанные предметы будут вам немедленно представлены. Задатка никакого не надо, полагаемся на ваше благородство.

Доброжилатели...

Просим не смешивать с шутниками.

Сочельник...

В сочельник должна подняться большая, четкая рождественская звезда, которая скует всех воедино, — и никакой звезды не поднимается. Маменька доктора Федорова печет пироги, и маменька счастлива, ибо вечером будет звезда и будут пельмени, — потому что совсем не будет картошки и — самое главное — потому, что Вася — один, единственный сын, одно, что есть у нее. И будут — и салфетки, и скатерть, и керосин, и сладкое, и пельмени, — пельмени, как ни у кого в городе.

Рядом с счастьем — величайшее горе: это было у матери. Рядом с горем — величайшее счастье: это было у доктора Федорова. Доктор колол дрова и растапливал печь для матери — и сердце его щемилось, щемилось величайшей нежностью, величайшей любовью — к матери. Мама, мама, мамочка, — в фартуке, старенькая, с тревогой, горем и радостью — за пельмени, за сладкий пирог и пирог на бараньем сале.

В сочельник же был бал у военкома, — были оркестр, лакеи, гуси, свинина, коньяк, кавалерийская жжонка, печенье, пироги, конфеты, живые картины, фанты, шарады, почта амура и речи, — было объединение третьего элемента, сиречь интеллигенции, с представителями Российской коммунистической партии.

И ничего не было в сочельник у Ивана Петровича Бекеша, ибо если одни умели и могли в голодном городе достать съедобное, то Иван Петрович — не умел и не мог только желать, и должен был есть только картошку, рассчитанную так, чтобы умереть к весне — с матерью, с крестной, женой и ребенком, — и с гнилой картошкой, развешенной до пятнадцатого июля включительно.

В сочельник в сумерки к Ивану Петровичу Бекешу заходили доктор Федоров и писатель Яков Камынин, — шли переулочками, глухо озаборенными, в скрипучем снеге, в синих сумерках и в красной заплате запада, — по окраине, где дома замело с крышами и где лежат уже пустые поля. В сочельник Иван Петрович Бекеш играл с женою, матерью и крестной в двадцать одно и принял гостей в своем кабинете, где были двухспальная кровать, японский веер и стол с открытками, расставленными в симметрии тщательной. Камынин почти касался потолка

и сел в шапке за стол. Иван Петрович знал, зачем пришли доктор и писатель, и все же спросил:

— Какими судьбами?! Сколько зим, сколько лет!..

— Пешком, — ответил Камынин. — Да.

— Хм! хе-хе-хе!.. конечно...

— Закуривайте. Махорка крепкая. Как — да — поживаете?

— Хм!.. наше дело маленькое. Живем, хлеб жуем... да нет, собственно, — хлеба, собственно, нет... так, кое-как...

Помолчали. Закурили. Позатянулись.

— Мы насчет дневников пришли.

— Ах насчет дневников! Пожалуйста!.. я от своих слов не отказываюсь!.. только...

— Значит, продаете?

— Я от своих слов не отказываюсь... только... только к чему они вам?... так, пустяки.

— Мне они нужны, — сказал Камынин и затянулся.

«Оле. Оле Веральской, милая, милая», — это Федоров, больно и остро.

— Конечно, как писателю... материал...

— Да. Материал.

— А позвольте спросить, Яков Сергеевич, что вас там заинтересовало?

— Ну, уж, — знаете... Многое. Да.

— Роман напишете?

— Ну, уж этого не знаю. Да.

Помолчали.

— Ну, так...

— Ах!.. Только, знаете ли, я не могу за ту цену...

— За какую?

— Как уговорились. Я ведь продаю, как писателю, а другому бы ни за что...

— Другой бы и не купил. Разве на обертку.

— Верно! Совершенно верно!.. Только не забудьте, что это ведь душа моя. Тут вся моя жизнь...

— Да.

— А вы хотите за тысячу рублей!

— Тысячу вы сами назначили.

— Нет. Я ошибся тогда. За тысячу я не могу.

Доктор Федоров приметил, что руки Ивана Петровича задрожали, что лоб его побледнел. Иван Петрович сидел неестественно-прямо, дергаясь, как на шарнирах. И было в его подергиваниях и в капельках пота на лбу — очень гаденькое, подхалимствующе-резонное. Яков Камынин, написавший пятнадцать книг, похожий на Дон-Кихота, сидел, расставив костлявые свои ноги, в шапке, скучливо покуривая, говорил, не спеша, тоже скучливо: — «Оленька, Оленька! Милая, необыкновенная!» И сердце Федорова защемило любовью и болью.

— Ну, а вы дневники покажите.

Иван Петрович дернулся, чтобы встать и достать, но остался на месте.

— Ей-богу, Яков Сергеевич, не знаю, где они... В чулане, кажется, — потом часть у вас... Оставим это. Давайте поговорим еще о чем-нибудь.

— Да нет уже. Давайте кончим, что ли...

— Ну, сейчас, поищу. — Иван Петрович подлез под стол и достал связку тетрадей.

...«А ведь это что-то очень мерзкое. Очень мерзкое. Ну, а если ни во что не верить!» — доктор Федоров больно опустил глаза вниз. Камынин свернул новую цыгарку, стал развязывать связку.

— Закуривайте! Махорка крепкая... Ну, так сколько?

— Тут и стихи мои есть...

— Да. Так сколько?

— Ах, цену-то?.. Ей-богу, я не продаю!.. уж и не знаю, сколько...

...«Боль. Боль. Человеческая нищета. Ну, а если ни во что не верить?.. Ольга ни во что не верит, — а гребенка, а гребенка у нее сшита защитными нитками тщательно, чтобы никто не заметил. А дома мама — мама. Мама варит пельмени, старенькая, в стареньком фартучке, и пенснэ у мамы склеено сургучом... пельмени, как ни у кого в городе, — для него, для доктора Федорова. Дневник же — для Оли Веральской»...

— Слушайте, уже поздно! у меня голова болит. Кончайте скорее, — это доктор.

Иван Петрович, вслед за Камыниным, следил за перелистываемыми страницами, и вдруг в лице Ивана Петровича появилось нежное, милое, ясное.

— Хорошо. Уступлю, Яков Сергеевич!.. Только оставьте мне эту тетрадку, она маленькая... Тут у меня описана любовь к Оле Веральской, и ее заметки, воспоминание дорогое. Первая любовь ... Вам что? — мне, главное, ее заметки, она карандашом приписывала... Оставьте!..

— Что же, оставлю, — это Камынин.

— Нет, и его, и его! — это доктор, очень больно.

— Оставьте, доктор, мелочи, — это Камынин.

— Вася, ведь ты товарищ детства, оставь... уступи... — это Бекеш.

— Или... Ну, хорошо! Все равно, все равно! Очень больно... — Это Федоров, — хорошо!..

— Душа ведь. И так дешево, — это Бекеш.

И опять шли — молча — переулочками в глухих заборах, в снегах, в синих сумерках, лишь иконостас запада померк, и сумерки вколачивали в небесную твердь шляпки звездных рождественных гвоздей. Повстречалась женщина в шали, красивая, с расписным коромыслом и с ведрами. Яков Сергеевич долго наблюдал за ней, затем остановился, расставив длинные свои ноги, одновременно

похожий и на Дон-Кихота, и на большие ножницы, — и сказал:

— Закуривайте... И во всякой боли есть красота. Какая красивая женщина, да... я, знаете ли, достал три пуда рыбьего жира и картошку, и еще два года могу прожить для красоты. Мне надо писать книгу. Я написал пятнадцать книг, и каждую новую книгу я писал с новой женщиной. Жена, кажется сошлась с Танатаром... Что же, в сущности, являет Ольга Андреевна Веральская, — она очень красива... Какая красивая женщина та, что с коромыслом.

— Это жена Бекеша, — сказал Федоров.

— Да? Но ведь Бекеш продает уже свои дневники, а у меня есть рыбий жир.

— Яков Сергеевич! как вам не страшно?

— Да? Но я должен же написать книгу.

Писатель Камынин не сказал, что, кроме жира и картошки, у него был еще денатурат. Жены Камынина не было дома. Дома, не раздеваясь и в шапке, Камынин варил картошку и чистил ее старинной испорченной саблей, — скорчив судорожно на сторону губы и скорчившись, выпил денатурата, выпил рыбьего жира, лег на диван и заснул, с лицом ясным и тихим, и с губами, попрежнему судорожно скорченными.

А у доктора Федорова были пельмени. Были — пирог, салфетки, большая лампа, а мама говорила, волнуясь и суматошась:

— Кушай, Васенька, ешь, родной, еще возьми, милый мой мальчик.

Доктор Федоров ел вкусно, но пельменей не оказалось столько, чтобы быть сытым, а мама не успела к празднику причесаться и снять фартучек...

И все же над землей шел праздник, в коем чертовщина наплясывает последнее свое навождение — перед весной, перед солнцем, перед радостью...

Доктору Федорову принесли пакет:

Совет
Раб. и кр. деп.
дер. Поповки. Удостоверение.

Дано гр. беженцу дер. Поповки Антону Юсофато Панащюки дано в том, что он желает прививку оспы, чтобы на дороги не захватить холеры и матери Анны Павловны Панащюки тоже желает что в городе, что и удостоверяет сельский совет.

Председатель *И. Птицын.*

Печать.

А вот — из записной книжки писателя:

Поздно ночью, тоскуя, в метель, мать заходит к своему ребенку, мальчик спит, мать роется в карманах его штанишек, перебирает бесконечные веревочки, гайки, гвоздики, катушки — и плачет.

Сверхшикарная дама из Астрахани, в порыве, дарит любовнику перстень, а потом, спохватившись и убоясь нахлобучки от мужа, едет заявить в сыскное отделение.

Молебен о здравии коня Буцефала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как же рассказывать дальше?

На первый рождественский день люди надевают все нарядное, ходят в гости. И на первый, и на второй, и на третий, и на четвертый рождественские дни надо ложиться в четыре, радоваться, веселиться, устраивать «суарэ», «файфклекти» и балы, ухаживать, обновляться, и быть такими же, как всегда, мучиться так же, как всегда, — и не мучиться так же, как всегда. Первый день все были в коммунистическом клубе. Весь первый день разъезжал по городу, катая на тройках барышень, товарищ Танатар.

А ночью, под Рождество Танатар, красавец-кабардинец Танатар в пустом отцовском доме, похожий на большую уставшую черную кошку, — пролежал у кивота. У кивота горели лампады, блестели серебром и мутью иконы. Товарищ Танатар лежал сжавшись, точно чтоб прыгнуть, и глаза его, черные, исподлобья, на сухом, черном лице отражали, в безумьи и муке, желтую муку лампад. В дверях появилась жена, — бледная, белая, — говорила бесшумно:

— Встань, Самуил! — и Танатар еще плотнее сжимался, прижимался к полу, в смятеньи, в безумьи и муке.

На фронте, в Заволжьи, в известняках Танатар раздавил случайно сапогом черную ящерицу, — у ящерицы выползли кишечки и выскочили глаза, если бы жена видела ту

ящерицу, она заметила бы, что глаза Самуила — в эту рождественскую ночь — похожи были на глаза ящерицы,— в тот степной день.

— Встань, Самуил! — жена бродила в ту ночь, белая, бледная, по черным комнатам от комнаты с кивотом до кухни, где вестовые гоготали весело и играли в три листика.

В коридоре чадил ночник, там валялись седла, сабли, винтовки, шинели, попоны и пахло лошадиным острым потом.

— Встань, Самуил!

И метель. Та метель, что сказала Ольге о метельной метелицыной внучке, — все же, должно быть, есть ведьмовское навождение! — В ту ночь трудно было бродить. Ветер срывался с крыш и кувыркался, кружась в неистовстве, мчался из разворованных пустырей и заборов, снег колыхался, как волны, — надо было не итти, а ползти — в мути снежной, в снежном вихре, в крике, стоне и вое, — в белом мраке, в смертных белых песнях. — И в тот вечер бродили трое, — по Сибириной Горе, около дома Андрея Андреевича Веральского. Танатар вышел из дома, и ему, должно быть, показалось, что белая ведьма — метель — ухватила его ледяными руками за шею. Шею Танатар вжал в плечи, выдвинулось вперед птичье его лицо с кривым носом, — и опять казалось, что человек, как зверь, готов к прыжку. По пояс в снег, избродив переулки и улочки, Танатар стал у невидимого дома Веральских, — в двух шагах не было видно. Из-под горы, из полей шла метель, ломилась в дома, в улицы, — и — как кричала!... И из метели прямо на Танатара нашел человек.

В метельном вое потонуло:

— Кто это?..

— Начальник кавалерийского дивизиона. Доктор Федоров? — слова потонули в метели. Танатар сжался плотнее,

и Федоров не узнал, прокричал ли то Танатар, простонала ль метель, его ль воспаленные мысли сложили:

— За Ольгой следишь? Ольгу не дам! Ольга моя!.. Знаешь — Танатара? Танатар убьет!

Они разошлись, но, спугнутые, встретились вновь и, встретившись, повстречали третьего: — у забора, в метели, к забору прижавшись, стояла белая женщина. И, когда прошли мимо, Танатар прошептал на ухо Федорову, ясно и слабо, обдавая теплом:

— Это — жена. Моя жена. Бледная немочь. Всюду следит, все знает, — и молчит, и молчит. Белая кровь. Доктор Федоров, Вася! — э-эх, какая тоска!.. Вася, нечем же жить. А я ведь как зверь — некультурный, незнающий!.. А жена — та молчит и все знает... И она говорит: — человека надо любить, человека, последнего Ивана Бекеша любить надо... человека забыли!..

И, пройдя два переулка, повстречали — Бекеша. Иван Петрович стоял у тумбы, опирая на нее пудовичок, и, узнав знакомых, Иван Петрович крикнул радостно:

— Ох, напугали! Купил — разорился к празднику хлебца. Вот несу в темноте, чтобы не отняли...

И метель...

А в метель собрались все у писателя Якова Камынина, пили чай из глубоких тарелок, чистили картошку старинной саблей, посылали за самогоном и под метель, под хлябанье вьюшек, под крики метельные и гоготы — играли в «железку». Всю ночь и весь следующий день писатель Яков Камынин и военспец Самуил Танатар простояли у круглого старинного стола, ибо сидя играть они не умели. Горели масленки, потом пришла серая муть, масленки потухли, пошел день. На столе были карты, тысячи, рюмки, тарелки, картошка, махорка. Танатар дважды посылал вестового к жене, белой, бледной —

за казенными тысячами. Другие, отходя от стола, ложились заснуть на диван, чтобы встать через час и снова итти к картам. Перед рассветом, в серой мути — исчезли из комнаты женщины и вернулись к заполдням. В комнате было — как в головах игроков: комната застарела бессонницей, — как в головах, клубился дым цыгарок, томил сивушный перегар; — и от истомленной сосредоточенности отпечатывались в мозгу — и стол круглый, и ковровый диван с запахом пыли, и масленки — надежд, должно быть. В голове у писателя Якова Камынина было так же серо, как в дымной комнатке, — и чернее, много чернее было в черной голове военспеца Танатара. Доктор же Федоров давно уже спал на диване, бредя во сне; и, должно быть, правду говорил Яков Камынин всем приходящим, когда говорил:

— Курите. Знаете — карты — единое чудо на земле. Должно быть. Поэтому можно не спать для них ночей. Чудо. Кто не мечтает о чуде? — Дама пик, король треф — и девятка. Единое чудо. И красота. И еще чудо — женщины.

Камынин, играя, чертил машинально свой календарь рукописный.

— Чудо и числа дней.

К заполдням, после сна, пришли женщины, варили игрокам картошку. И Ирина, жена Камынина, чистила картошку не для мужа, и не для всех, а для Танатара. Камынин чистил сам старинной саблей, едва стоя на тонких ногах, в галлифе, с глазами, светлыми до святости. И Ирина подошла и склонила голову не на плечо мужа, а на плечо Танатара.

— Проиграл? — спросила тихо.

— Проиграл, все, — и Танатар улыбнулся наивно. — Казенные деньги.

— Много?

— Двести.

— Тысяч?..

— Да.

— Кто взял?

— Не помню. Кажется, Яков. Но все пропито, должно быть.

— Иди ко мне. Я тебя уложу.

— Что же, уложи. — Танатар улыбнулся слабо и наивно. — Все метелит?..

— Нет, улеглось.

Ирина, — никто не видел древних ассириянок, но все думали, что должны они быть, как Ирина, — груди, как чаша, глаза, как миндаль, и как у каменного Аримана волосы, как конские, и косами на грудь, и лицо и тело почти квадратные, почти каменные, — и легкие, как у цирковой наездницы: Ирина и была цирковой наездницей, где-то в Одессе.

Мужчины, допивая остатки, как мухи в осень, — тыкались по углам, с шинелями и шубами, чтобы уснуть. Женщины готовили костюмы на вечер в маскарад. Карты перешли на кухню к вестовым военспецов. Камынин долго, за карточным столом, где играли, дописывал свой календарь, допивая остатки из рюмок. С ним сидел князь Трубецкой, адъютант, и они говорили лениво. Князь имел до семнадцатого года несколько переулков в Москве, и, кроме подмосковного, имения в Тамбовской, Воронежской и Полтавской губерниях, а Камынину принадлежал по чиншевому праву целый город в Западном крае, и он не знал, в каких губерниях у него леса, лесопилки, сплавы, рудники и заводы.

— Пошлем еще за бутылкой коньяку, князь, — сказал лениво Камынин.

— Сейчас надо бы принять ванну и есть землянику с белым вином, — ответил лениво Трубецкой.

— Свежую землянику? Да. Но, знаете, когда я играю и пью шампанское с белой маркой, — сначала еще ничего свежие фрукты и ягоды, — но потом — знаете — кислая капуста, шинкованная и шабли...

Камынин выписывал числа и снова лениво сказал:

— Пошлем еще за бутылкой коньяку, князь.

— В сущности, этот коньяк, как самогон.

— Пошлем за самогоном...

— С красным перцем — и филэ; хлеб есть?

— Хлеба нет, это неважно. Можно сырое мясо, князь.

Камынин вписал последнее число, долго смотрел на численник и встал, расставив тонкие свои ноги и положив руки не на талию, а на подмышки.

В комнате Ирины на диване в подушках, прикрывшись пледом и положив голову на колени Ирины, лежал Танатар, бледный, с глазами полузакрытыми и испепеленными. И вместе с сумерками вошли в комнату Камынин и Федоров. Камынин долго удерживал равновесие и наконец заговорил:

— Курите, Танатар. Ира, мне надо писать новую книгу. Роща зеленая, березовая роща, — но ее можно свести, чтобы сделать бумагу: все для книги, для красоты. Красота. Ира, ты сошлась с Танатаром, и мне надо новую женщину, — для книги. Давайте обсудим. Добро, зло, правда, ложь, — глупость. Красота. И все решать надо очень просто... Я хочу пригласить, предложить быть моей женой, — Ольгу Андреевну Веральскую.

Шли сумерки. Стекла, воздух за ними синели морозно. Перезванивали колокола. Никто не пошевельнулся, никто ничего не сказал.

— Ольга Андреевна Веральская. Надо очень просто сказать. Красота. Во имя книги. Очень все просто.

Сумерки. Сумерки — серо, сине. Зашарили тени в углах. Лицо Ирины — лицо ассириянки.

— Ира!.. Ведь у нас есть рыбий жир. И мы не умрем трое. Ира...

— Расскажи о себе, Яков.

— Что же, нет жизни, есть красота. Есть чудо. Уйти от жизни.

— Зови Ольгу, Яков... Иногда мы будем пить втроем. Две пьяные женщины!

Сумерки. Серо. Как мяч, как пружина, вскочил Танатар.

— Тройку, водки, Ольгу Андреевну — сыщем.

Дивизионную тройку в пошевнях примчали вестовые. Танатар бегал по комнатам, одеваясь за кучера. Танатар носил Ирину на руках и кричал бессмысленно: «Анараташ-ра». Танатар стал за кучера, Камынин и Федоров сели в пошевни.

— Пшел!..

Лошади взмяли серебряную пыль, визгнули сани, взвыли бубенцы, скосились дома, и дом на Сибриной Горе стал, как всегда, темный и хмурый. Федоров остался с лошадьми. Камынин и Танатар прошли в дом. Танатар остался в холодной гостиной. Камынин прошел в комнату Ольги. — — А когда Камынин выходил из комнаты Ольги, в темной гостиной костлявыми своими ногами наткнулся на нечто и упал, и, поднимаясь, различил Танатара: Танатар, сжавшись, точно чтобы прыгнуть, похожий на черную кошку, лежал на полу и шептал, — слышал ли шопот Камынин?

— Все же есть чудо, есть чудо. Не надо так с тайнами. Ольга, Ольга. Не надо.

В тот вечер долго метался по городу на тройке товарищ Танатар, катая всех, Ирину, барышень, пьяного Камынина, пьяного Трубецкого, военспецов.

Бал-маскарад в коммунистическом клубе.

У Ольги Андреевны Веральской гребенка была тщательно сшита, чтобы не было заметно, но Ольги Андреевны не было на бале-маскараде, а была какая-то девочка, у которой ее гребенка была сшита. Гремел военный оркестр вальсами, венгерками и мазурками. Покапчивали, все же яркие, лампы. Военспецы, особенно кавалеристы, гремели шпорами и саблями, будучи сердцем бала. Дамы были ночами, веснами (в бумажных цветах), березками, хохлушками (с бусами от елки), тирольками, огурцом и домино. И потому, что в городе не отапливались бани, а духи спекулянтами давно переправлены были в деревни, больше всего пахло пудрой и потом, специфически женским, точно так же, как от мужчин больше всего пахло махоркой. Военспецы гремели шпорами и танцовали, закручивая головы набок и в стороны, а антрактами ходили в буфет пить чай. Дамы в буфет не ходили, и в буфете рассказывали анекдоты.

— Марья Ивановна говорила вчера, что будет н о ч ь ю, а сестра ее, Клавдия, — о г у р ц о м. Подхожу к Марье Ивановне, около нее амур; я, думая, что это Клавдия, говорю: «а почему вы не огурец?» — амур как от меня прыснет: — «нахал», — ха-ха!

— Это ничего. А у одной феи тесемка...

Оркестр загремел гиаватой.

— Девочка на балу. — Девочка была, должно быть, с сестрой. У сестры было дешевое новое платье, и она зорко ждала кавалеров, непокойно и, почему-то, злобно. Девочка ей мешала. Маленькая, худенькая, с красными руками, с бледным личиком и в бедном платьице, в заштопанных чулочках, необыкновенными глазами, ясными, светлыми, девочка смотрела на окружающих открыто и ласково, смеялась ласково и ласково спрашивала о чем-то сестру. И сестра отвечала

неохотно и коротко и смотрела на нее злобно. Девочка удивительно смеялась: ласково, открыто и весело. Девочка смеялась и радовалась. Но к сестре подошел почтовый чиновник, они ушли в гиавату. Доктор Федоров зорко следил за девочкой.

Девочка осталась одна; на лице ее на минутку появились страх и печаль, и девочка тихо пошла по комнатам, осматриваясь и наблюдая. И у девочки в глазах опять появилась печаль, — она уже не улыбалась, и глаза ее смотрели медленно и тихо. Доктор Федоров, должно быть, не заметил, что он сказал вслух, — это:

— Это еще успеется, это еще придет. Пусть потом. Не надо. Не надо.

Доктор Федоров подошел к девочке, протягивая руки.

— Не надо грустить, не надо грустить. Идемте танцовать. Идемте пить чай... Не надо, — идемте!..

Девочка побежала от чужого доктора через пары танцующих, сквозь гиавату, вдруг заплакала, громко и горько. И сейчас же за ней заплакал доктор Федоров, упав грудью на столик, где продавались билеты и самодельные конфетти, и прячо лицо, сразу намокшее, в руки, в столик и в книжки билетов.

Доктору Федорову давали воды. Около доктора появились люди. Гиавата смолкла. И заботливее всех, и нежнее всех — поистине по-человечески! — был Танатар. А когда Танатар сажал доктора Федорова в сани, из подъезда вышла та девочка, с сестрой и чиновником. И сестра, поднимая девочку за руку почти на воздух, говорила злобно:

— Дура, дура, ревикса...

Увидала доктора Федорова и прошептала злобно чиновнику:

— И этот, тоже... нахал!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Давно, очень давно в последний раз брался я за перо, чтобы записать на страницы дневника то, что почему-нибудь входило в круг моей наблюдательности и волновало меня. Я говорю: «очень давно», хотя с тех пор прошло только две недели — но как много прожито, как пережито!.. Во-первых, это мое сближение с купчихой Ольгой Николаевной Жмухиной. Вся эта антимония вышла чудесно как-то, как в сказках... Находясь в периоде, и не использовать оного, показалось смешным на сей раз, — ну, что ж, я и воспользовался... До этого дня мы не раз с ней играли... Видя, что ничего не говорит, я несколько времени был под кошмаром и рассуждениями с собой, как бы к ней прийти... случай выпал... я пришел тайком... неприятно как-то... Приняла, что говорится, не с простертыми объятиями — холодновато и конфузливо. Даже сказала: «Ваня, зачем вы ко мне пришли? — ведь неловко»... С этими словами я бросился на нее, подобно кровожадному зверю... но на это она сказала: «ну, зачем пачкаться руками? — пойдем лучше на кровать»... При этих словах я чуть не вскрикнул от радости... Ну, да ладно, зато в следующие дни возьму свое... За этим днем потянулись в таком же духе еще три дня. Последние два дня был у нее со своими товарищами В. Федоровым и Самуилом Танатаром... Не буду много говорить об этой пошло-

сти... Я эту мерзость долго колебался не писать, но вовсе не потому, что боялся попасть на глаза крестной, — вовсе нет, — потому что этот шаг первый во всю мою жизнь... Первое посещение мое, когда я был один, было лучше в сравнении с посещениями с товарищами. Как и всегда, в подобных вещах, началось с приставаний (основательных), и в последний перешло в дикую вакханалию. С товарищами заявлялись к ней пьяными. Много смеялись с Ольгой Николаевной над товарищами: Федоров все плакал, а Танатар молился... оказалось, что они — девственники, и Федоров так и не смог нарушить свою девственность... Все делалось нельзя как лучше... Заводился граммофон, пили чай, за которым устраивали обнимание, угощая винцом... «Живи и наслаждайся» говорит один ученый...»

И опять больно падает дневник на колени. — Господи, господи, дай чистоты! Дай чистоты, господи! Избави от боли, от лжи, от грязи!..

День. Воздух в морозе, желт, как воск, — желто, как воск, солнце. На стеклах окон ожелченные солнцем веера и хвощи инея. В комнатах бодрый холод, тишина, пустынность, восковые лучи ложатся на каменный пол. Термометр стоит на тридцати двух, — там, за замерзшим окном. Илья говорил утром, что на дворе валяются замерзшие галки.

Падает дневник на колени, падают на колени слезы. Пустыня дня — пустыня дней.

И опять телефонный звонок...

... Сочельник под новогодье. В загородной усадьбе Камыниных, теперь советском имении, в сочельник, под новогодье, военспецы дивизиона устраивали вечеринку. Колонный дом, простоявв-

ший столетие, оттапливали за несколько дней, и все же в нем было сыро и холодно. И потому, что дом был растащен, в нем не нашлось ламп, и вечером освещали его лучинами. Оркестр играл во мраке, без нот, врал отчаянно, и все же играл, на хорах, в белой зале. Одни уехали еще утром, чтобы в деревне провести день, кататься на лыжах и гулять, другие приехали прямо к ужину. В каждом городе находилась особая порода барышень, которые имели одно — увеселяться: — на этом вечере этих барышень было очень много. Вечером в лесу, на опушке, компания лыжников зажигала на веселой елочке две свечи, плясала около веселой елочки, потом елочку сожгли. Ночь пришла глубокая и безмолвная с мириадами звезд и с инеем, горящим как звезды. В ободранной гостиной накрыт был ужин, вестовые светили лучинами. Люди, в шинелях, в шубах и шапках, пели, ели и пили. Оркестр играл очень громко, но никто не танцовал. После ужина опять пили: — было событие: писатель Камынин, бывший хозяин, своим ключом отпер потайной шкаф с винами, иные вина прокисли, иные коньяки и водки повыдохлись,— но их пили под «ура», под «Умрешь — похоронят» и под «Гаудеамус». Вин, коньяков и водок (пусть выдохшихся) в шкафе оказалось больше, чем было надо, чтобы устроить кавалерийскую атаку — было ужасно весело, и несколько барышень, забравшись на камин, пересели на спины военспецов, изображавших горячих коней, — это называлось кавалерийской атакой. Атака помчалась с визгом по темным комнатам. В диванной у круглого стола завязалась «железка». Во всех темных комнатах уже слышались шопоты и писки. В зале, вдалеке от диванной, гремел оркестр, в диванной пополз махорочный дым, в диванной тоже был камин и с камина отъезжали кавалерийские пары, в диванной чадили лучины. В диванной на окне, за диваном, Камынин нашарил книгу, книга была Евангелием, и Камынин, расставив ноги, став у лучины, прочел вслух, наудачу:

> А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их.
>
> А наемник бежит, потому что наемник, и не радит об овцах.

Барышня сорвалась с камина и взвизгнула.

Кто-то сказал:

— Ва-банк.

К Камынину подошел Танатар и сказал тихо:

— Прочти для меня... —

— Телефонный звонок. Телефонный звонок прозвучал в пустыне комнат Ольги (в желтой пустыне) необычайно и резко, и в трубке зазвучал голос Самуила:

— Ольга. Простите. Мне очень больно, мне очень тоскливо. Ольга, простите... за все. Я искуплю свои грехи. Вы знаете, у нас жизни нет, мы умираем, мы должны умереть... Простите. Может, моя грязь — мечта о прекрасном крае... Я говорю кровью сердца.

И Ольга ответила тихо:

— Да, прощаю. Да-да, прощаю. Все прощаю, за все простила. Ничего нет...

В тот час, когда Танатар позвонил Ольге, загудела под горой Ольга Николаевна, и, должно быть, в это же время крикнул в форточку из клуба Андрей Андреевич:

— «Илья, подавай!»...

...Барышня сорвалась с камина и взвизгнула. Кто-то сказал: ва-банк! К Камынину подошел Танатар и сказал тихо:

— Прочти для меня.

— Для тебя? — хорошо. От Матфея:

> 32. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето.
> 33. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.

Камышин кончил и пьяно качнулся. Танатар пристально взглянул на него.

— Хочешь, я прочту тебе?

— На, прочти.

— Не надо книги. Я помню так. Тоже от Матфея: «оставим мертвым погребсти свои мертвецы»... Глава восьмая: «...оставим мертвым»...

Танатар круто повернулся и вышел из комнаты. В доме была испорчена уборная, и мужчины выходили на заднее крыльцо. Танатар пошел туда. Над землей низко поднималась луна, на селе лаяли собаки. Трубецкой тыкал голову в снег и совал в рот два пальца, какой-то другой военспец лежал на снегу, чтобы прохладиться. Двое закуривали. Танатар сошел с крыльца и прошел шага три по дорожке и остановился.

— Как, черти, загадили...

Наган метнулся в руке очень быстро, выстрел грянул громко, но сам Танатар, должно быть, его не слышал...

За красным гробом товарища Танатара, под звуки «Интернационала» и похоронных маршей, шла только одна женщина, скорбная, тонкая, — белая, бледная, — жена, которая все знала.

Ночь. Мрак синий. Снега. Звезды. Безмолвие.

У лесной опушки, где строгие сосны, разметались елочки, закутанные снегом, придавленные к земле. Одна

елочка обгорела и чадит горько. Безмолвие. Недвижимость. Звезды четки, и звезд — мириады. Упала звезда. Безмолвие. Идут часы. Синий мрак. Но вот кто-то зашевелился в поле у суходола, и между разметанных елочек побежала, закружилась — одна метеленка, другая, — и исчезли, умерли. Кто-то с севера стал надвигать темную мутную рукавицу на звезды. Опять побежали метеленки — одна, две, пять. Две метеленки встретились, спутались шлейфами, зашептались, слились и умерли. Метеленкам ответил лес, — в лесу закричало, в строгом менуэте качнулись сосны, затрещали и посыпались прошлогодние ветки. И опять безмолвие. И опять закружились, побежали метеленки — одна, две, сотни, — нарождаясь, умирая. Сосны склонили вершины перед новым менуэтом. Закричало, зазвенело, завыло. Мутная небесная рукавица посыпала крупу. Метеленки спутались, метеленки побежали в поле, — мириады метеленок.

И метель. Рожденные метелью мертвые метеленки неслись тысячи верст, над полями, над лесами, над реками, над городами, умирая, умирая, умирая в стоне, гоготе, крике и плаче.

Эта метель не была сказана телефоном, шла от Заволжья на Елец, на Курск, на Сумы, на Полтаву.

Бело, бело, бело.

Доктор Андрей Андреевич Веральский не ездил в метель по больным и целый день читал Майн-Рида. Доктор Андрей Андреевич — в шубе, шапке и валенках — в три вышел обедать, ел щи из кислой капусты с бараниной, молча поглядывал на Ольгу и хмуро сказал:

— Время теперь трудное, Оля. Ты отдохнула. Ты бы поступала на службу, в учительницы, что ли... Праздники кончились; надо трудиться, и не так скучно... Возьми баранины...

И еще об Иване Петровиче Бекеше. К писателю Якову Камынину приходил Иван Петрович, говорил о дневниках и кончил, сказав, что взял за дневники очень мало, и просил набавить или вернуть дневники. Камынин ответил, что покупал дневники не для себя, а для Ольги Андреевны Веральской.

Ольга Андреевна встретилась с Камыниным наутро в бирже труда. Перед ними записывалась барышня с черными глазами, как у овцы, и с бедрами, как разводы саней.

— Ваша профессия? — спросила писица барышню.

— Политическая эмигрантка, — ответила барышня. — Я до тысяча девятьсот семнадцатого года жила за чертой оседлости. Софья Пиндрик.

— Ага!

Вторым записывался Камынин.

— Ваша профессия? — спросила писица.

— Писатель.

И писица записала в соответствующую графу: — песец!

Коломна.
Никола-на-Посадьях.
1919 г.

ЧЕРТОПОЛОХ

Посвящается А. М. Пешкову

В первоначальном варианте повесть называлась «Иван-да-Марья». Ныне она радикально переработана.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот письмо Ксении Ордыниной:

«Зачем в сущности искренность? А если так, то откуда ироническое отношение к лицемерию?.. Впрочем это не все. Есть возможности, для которых нужна исключительная тепличная искренность. Фальшь, лицемерие — все это слишком грубо и неточно.

«Yes! Однако это и не искусственный рай опиофага.

«Это одним краем примыкает вот к чему: бывает, не знаю у всех ли, к некоторым людям, ко многим, — в исключительных, в ужасных случаях, ко всем, — глубочайшее отсутствие интереса. При последовательном развитии оно становится приблизительно таким: вся жизнь данного человека кажется безысходно пустынной, не имеющей для твоих глаз ни одного заветного уголка, делается ва него жутко и скучно без конца. Это презрительное, мучительное состояние, обесценивающее все.

«Так вот, кто знал это, — никогда не вернется, если же вернется — погибнет. Аминь.

«Но это не для вас.

«Жил-был один человек. Однажды он полюбил и написал стихи. Для себя. Для одного себя. И для той, которую любил. И в конце приписал он: «Вот я не сплю эту ночь. Ели вырисовываются на бледном небе, и края туч порозовели. Север. Снег. У меня покраснели глаза от бессонницы

Вы сказали, что придете, если я заболею. Вот я заболел, и вы не пришли».

«Это тоже эксперимент. И тоже не для вас.

«А для вас вот что. Жила-была девушка мещаночка на окраине города в маленьком домике с вишневым садом. У нее было хорошенькое личико, и ни одной минуты ей не сиделось на месте. Работа кипела в ее руках, и шутки не сходили с пухлых губок. Кавалеры на вечеринках все были ее поклонниками, а для тайн и секретов у нее была верная подружка...

«Но у меня устала рука, и я так и не допишу до конца.— Даже, если б вы умерли!

«Сейчас рассвет, и обнаженные вязы вырисовываются на бледном небе. Дичь. Я не ложилась спать, потому что любить нельзя...»

В штаб Ксения пришла к сумеркам.

Перед пустыми окнами штаба, через улицу, полз бесконечный заводский забор, торчащий своими зубьями в тоску, и снег под забором, помятый сажей, был загажен черной тропкой рабочих. Весь день трещали у забора, как воробьи, мальчишки, чтобы воровать заборины на топливо, и за ними не успевала сторожиха, чтобы прогнать их. Мальчишкам есть нарицательное — з а б о р н и к и: не ругающее, не унизительное, — констатирующее: — заборники, как кормилец. И это — тоже от революции, как лицо в самоваре — рожей.

В штаб она пришла к сумеркам. Днем она была в чека и в женотделе. В штабе, в чека, в женотделе, в политпросвете — всюду велась горячечная работа созидания новой России, —

— когда, — как в поезде, в теплушке,
от Москвы до этого нового города, за неудоб-

ствами, духотой и холодом, и мраком, за сумятохами мешечников, мешков, чайников, рук, ног, слов, матершины, вшей, остановок, уклонов, подъемов, — незаметен путь в две тысячи верст от Москвы до этого нового города, отсвистевший телеграфными столбами, мешками мешечников, отмелькавший ночами, восходами, станциями, остановками, — и заметны лишь эти подъемы, ночи, восходы, станции, мешки, —

когда —

за бумагами, резолюциями, словами, декретами, голодом, холодом, мелочами — видны эти только горячечные бумаги, резолюции, слова, декреты, голод, холод — и не примечен путь в десяток тысяч дней, времени, отсвистевшего, как экспресс, от полосатых николаевских будок, от распутья Распутина до теперешних лихорадок и зорь. — Не кажется ли многим, что дни наши — сплошной Памир, никем не изученный во имя Далай-Ламы и, поэтому, без сроков дней сошествия, — не Христа, — а нас, — не со креста, — а просто с Памира? — Впрочем, вот мальчишки, как воробьи, у забора, — в материных кофтенках, в опорках, в валенках, в шапках отцовских и в материнских шалях, умытые последний раз в прошлом году, — посланные матерями совершенно обыкновенно, — заборники, — учитывая превосходство своих ног, растаскивают этот забор, торчащий в тоску, с двух концов, совершенно обыкновенно, — и маятником мается по забору сторожиха, при служебных обязанностях, ибо сама же она знает, что топить надо — и сама же посылает своего Митькю, в своей шали,—только на ту сторону, на чугунку,—как мальчишки знают, что маменька каждого, — все маменьки очень дерутся, если нет дров.

На заборе, торчащем в тоску, — эта тоска облегчается этими драными досками, склоненными к рыльцам железок, — на заборе висит объявление: о том, что меняются карточки. И вот, многие ли знают, что за этот Памир заводский поселок в курьерском дней оставил новому городу — вместо прежних двадцати тысяч человечьих жизней — шесть, ибо карточек (со всеми жульничествами, ударных, детского питания, первой, второй и третьей категорий, выдано карточным бюро продкома всего шести тысячам едоков — ?.. А в конце забора, где тоска окончательно изрешетчена, — кладбище.

В штабе на столе, в пустых окнах, лежит газета «Воля коммуниста». На бумаге желтой, как желтуха, за статьями, где статьи как митинг, — глухое объявление чека, глуша обыденщину, пишет о том, что все отделы обязаны возвратить перегонные некие аппараты. — И этим глушится поэзия ночей, вот о чем: — уголовная комиссия отобрала у самогонщиков сорок два самогонных (гнать самогон) аппарата: и в уголовной комиссии вскоре сочлось вместо сорока двух самогонных аппаратов только тридцать два самогонных аппарата. Тогда уголовная комиссия — комиссар — сдала аппараты в отдел утилизации; и первым из отдела утилизации самогонные аппараты взял (по мандату) здравотдел, а за ним уже (по мандатам же) все отделы взяли себе по самогонному аппарату; и в приказе, руша поэзию, чека называла их (глухо) перегонными. Кто знает, что такое поэзия? — —

Глухою ночью, в глухие дождь и ветер, в глухой бане на курьих ножках, в вишневом саду, глухом как ночь — гусару Гореву, застрявшему у Ариши Рытовой в реквизованном доме, художнику Полунину, пишущему в зале Аришиного дома гигантских рабочих для стен Роста, и Арише Рытовой, школьной работнице

второй ступени, бывшей владелице и сада этого вишневого, и бани этой, и каменного дома перед лужами площади и с мостовой на дворе, — реквизирующим и реквизированной, — для всех по секрету, для коммунальной попойки — гнать ночью в бане — самогон, — шутить, целоваться по-купечески рыхло всем троим, не спать ночью, от бессонницы грузиться в стекло бессонницы, в звон ушей, в ветра вой, в тепло бани и тела. — Баня на курьих ножках — Жуковский. Гусар и попойка — Лермонтов. При чем же, при чем же здесь Передонов из «Мелкого беса»? — Ах, как громко смеется Ариша Рытова, целуясь, девка в двадцать семь! — не потому ли, что даже весело ей вывозить на себе — и папашу, как бочка, и мамашу, как щепка, и Горева, и Полунина, и каменный дом с мостовой на дворе — ей, — пополневшей даже, румяной, стриженой, здесь же в бане лукаво подпрятавшей и муку и сало свиное — ?!

Это пишу я, автор. Знавал я в давности ветеринарного фельдшера, Карла Карловича, латыша, который, когда запивал, пил сладкие только наливки и пел еще латышские свои песни, аккомпанируя себе на гармони-флют, и привязывал тогда коту своему бантики на хвост Карл Карлович. Кот этот жил вообще мирно и благородно, — но стоило Карлу Карловичу замурлыкать по-латышски или показать коту бутылку от спотыкача, — летел кот стремительно в бурьяны и сидел там дня по три.— Ну, так вот, кот этот походил чрезвычайно на папашу Ариши Рытовой,

солидного, как бочка. Стоило в Москве вспыхнуть эс-эрам, что ли, или белым внизу под городом двинуться вверх, — как приходили и брали папашу Рытова к архангелу заложником. И папаша Рытов приладился, как кот Карла Карловича: было покойно, не пугали газеты, — папаша Рытов мирно и благородно гулял по лужам пред домом на площади, — но стоило едва-едва заворошиться газетам, как исчезал бесследно папаша Рытов, как кот Карла Карловича, в каких-то бурьянах. И надо отдать справедливость, был папаша барометром политических положений отличнейшим.

Лицо в самоваре — рожей.

В штаб она пришла к сумеркам, и сейчас же вместе они вышли из штаба, шли мимо забора заводского, разрешетившего заборинами тоску.

(Штаб пропустил в этот день на фронт пять тысяч изодранных людей и две тысячи с фронта — очень цынготных и очень упитанных, — и весь штаб устал от пота портянок и от того, что правая рука каждого сжималась в писцевой истерике, чтобы вписывать пустые места: — «Имя, отчество, фамилия, — род оружия, — из граждан губ., у., волости, — на основании статьи, — подпись руки». — В женотделе женщины — высоколобые и низколобые, узколицые и скуластые, стриженые и нет, в кожаных штанах, в защитных штанах и в юбках, с револьверами на ремне, — спорили, анкетировали, командировались, культурно-просветительствовали, ибо женщины тогда просыпались.

И все они —

анкетированные, командирующиеся, безбровые и с бровями как подобает, с взглядом

не аберрирующим, устремленным параллелью взоров в психостению, и с взглядом как подобает, — в комнате, с револьверами на столе, в махорочном дыме, в плакатах и лозунгах, с истерикой, конденсированной в пузырьки жидкостью (ибо женщины просыпались тогда)— все это (удивительно даже!) конденсировалось в ней, — в Ксении. Но была она покойна очень, как дама, в черном платье, как дама, в прическе черной, как дама, красива очень, с бровями черными, изломанными, и с взглядом спокойным, медленным как подобает, высока, гибка, даже с сережками в ушах под пушистыми волосами, — и лишь бровь правая — черная, изломанная — поднималась у нее на бледный — очень высокий и бледный под пушистыми волосами — лоб. Даже сережки, и белый платок в левой руке и у губ, в черном платье, как дама, — и все же — заанкеченная, закомандированная, замитингованная, в женотделе, из чека.)

То письмо, что на рассвете было написано (с адресом: «писателю Дмитрию Гавриловичу Тропарову»), так и осталось на столе у кровати, в доме всюду отпертом, из которого всякие Ариши Рытовы выгнаны были. Ведь писатель Тропаров, почти старик, — был где-то, а вот здесь в штабе, за пустыми окнами в сумерки, стоял другой, в кожаной куртке, стройный как чорт, — конечно молодой чорт, отрицающий и чорта и бога, чтобы зарыться в ее коленях. И этот молодой чорт без чорта и бога, губами, от которых нет возможности оторваться, — одними губами, — здесь в штабе и у забора, говорил о самом тайном — о — — — — — — — о том, как больно целовать ее — — — — — — только об этом говорил он, весь в Памире, окурьеренный днями в бумажный смерчь — «рода оружия, основания статьи, подписи руки», — здесь у забора, где каждый из шести тысяч, оставшихся после два-

дцати, сторонился угодливо, — сторонился от чорта с Памира. Одними губами — о самом тайном.

И уже за забором, у кладбища (—а жило кладбище в ветлах странными белыми цифрами, уничтожившими и забор каменный, чтобы выползти на огороды, и всякую статистику) — у кладбища, на распутьи, прощаясь, она сказала тихо, с платком у губ, — подняв правую — черную, изломанную — бровь на очень белый и высокий под пушистыми волосами лоб:

— Я думала... Тех мужчин, которые раньше сходились с женщинами, но — женившись мучатся, если жена не девушка, — я оправдываю и понимаю. Вот почему. Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдаваясь впервые, несет душу и тело — всю душу и все тело отдает она другому мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине, стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится воровством и моется. И только к жене он идет и с душой и с телом, и, так чаще бывает, с жаждой создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если он узнает, что всю душу, всю святость женщина отдала уже другому, — не могла не отдать сошедшись... Я не попала в число этих девяносто девяти.

— Что же Колонтай о тебе писала, проектируя человеководство и человеческие племенные рассадники?

— Нет, не обо мне. Прощай. Приди ночью.

И они разошлись — два чорта без чорта и бога — начальник штаба товарищ Череп и сотрудница чека, начальник женотдела, товарищ Ордынина, оба с Памиров.

(Куррикулюм витэ Ордыниной:

Детство провела в семье, в захолустном покамском (в сущности вотчинном) городке. Образование получила в Московском николаевском институте благородных девиц, коий и окончила с золотой медалью, получив по всем предметам выпускных экзаменов, как раз в год революции, — двенадцать. В кондуитах и актедиурных классные дамы и mademoiselles отмечали в княжне Ордыниной склонность к романтизму, некоторую эксцентричность и дерзкую правдивость.)

В каменном доме, с лужей перед ним и мостовой на дворе, из которого выгнаны были всяческие Ариши Рытовы и который всегда был отперт, ибо каждый проходящий мимо начинал чувствовать себя лойяльнейше удивительно и удивительно мирно-честным (а все же стремился пройти по-добру, по-здорову), в комнате с окнами и дверью к вязам и заброшенным куртинам, на столе у кровати (у кровати в ногах висела винтовка и на столе валялись кассеты) — на столе стыло письмо писателю Дмитрию Гавриловичу Тропарову, как стыла тишина в доме. И дому, и комнате, и кровати, и товарищу Ксении Ордыниной надо было отбыть часы, чтобы ждать, когда придет товарищ Череп — и в этом доме, в этой комнате, на этой кровати будет целовать — губами, от которых возможности нет оторваться — — —

— Это было уже. Дом, из которого выгнаны всяческие Ариши Рытовы и мимо которого ходят двумя ногами на четвереньках, всюду отпертый, избывал июлеву ночь. К городу подступали белые, и город, и ночь, все как папаша Рытов в бурьянах, избывали тишину. В чека шли допросы. Шел июль и уже перестали петь птицы. Немотствовал дом. Ксения одна ждала товарища Черепа, от губ которого нет возможности оторваться, и

каждый шорох судорогой пробегал по спине, и наяву шли сны о снах.

— Вот эти сны. Как их передать? Вот его лицо, и еще кто-то тут, кто-то такие изысканные, блестящие, заманчивые. Едем, — на чем? — неизвестно, неважно. Дорога сворачивает между двух синих, зелено-синих изб, и справа зелено-синяя ночь, с зелено-синей полоской восхода (и неизвестно, что слева). И рядом только его лицо, нет тела, но рука его касается талии. И все. И все качается в мозгу, зелено-синее.

И каждый шорох судорогой пробегал по спине, и наяву шли сны. Немотствовал дом — в июлевой ночи, в горячке чека. И тогда из дальних комнат послышались шаги, странные, костяные. Не было сил двинуться, и горячею кровью заныли шаги в коленях, в груди, — — заблудшая шершавая собака, блудившая по городу в ночи и забредшая в дом всюду отпертый, подошла к кровати и лизнула холодным языком горячее колено Ксении. И Ксения завизжала в истерике, в испуге, в тоске. Шершавая, в репьях, блудящая в ночи, с тоскливым визгом, не спеша, побежала от кровати собака, вон из дома.

И тогда зазвонил резко в пустом доме телефон.

— Товарищ Ордынина. Вас просят в чека.

— Что?

— Идут допросы.

В клубе профсоюза советских служащих, —

— внизу в клубе, где пахло, как пахло при «Трезвости», полна чайная, пили чай, резались в шашки, кто посолиднее и посерее, с собачкой в зубах, — наверху в клубе, в читальне, полна читальня, кокетничали с барышнями и не читали газет, кто помоложе и понаряднее, с папиросой в зубах, — и наверху же в клубе, в зале, на устной газете полтора человека слушали устную газету на тему текущего момента, те, которых не определишь, глядя на спины, без папирос и без собачек в зубах, сидящие на стульях очень неплотно, —

— в клубе профсоюза советских служащих, в правленской, члены правления торчали в тоску, как забор, и терзали тоску, как заборники, то-есть так же покойно, как мальчики, — члены правления в правленской: народный судья Вантроба, художник Полунин, гусар Гарев и Иван Альфонсович, без фамилии, — все холостежь.

(— сделал таинственный круг в революцию по революции народный судья Вантроба: революцией захваченный земским начальником первого участка, с камерой в квартире своей на огородах Шемиловки, эквилибрируя года два очень таинственно, кончил Вантроба народным судьею первого участка с камерой в квартире своей на огородах Шемиловки. — И никакого таинственного круга по революции (совершенно таинственно!) не сделал Иван Альфонсович без фамилии и по прозванию Морж, ибо, как был, остался нос его невозмутимо-багровым, ибо, как всегда, говорил Иван Альфонсович всем невозмутимо на ты—и невоз-

мутимо оказывал всяческие всем услуги: доставал по дружбе муки, мяса, китайского чая, водки, вин и прочее; продавал по дружбе часы, шубы, сапоги, комоды и прочее; деньги ссужал; переговаривал с друзьями по дружбе, чтобы не выселяли, не уплотняли, — или устраивал квартирки по дружбе, так и такие, выселяя столь важное, что это казалось чудесным. Кроме «слабости», имел одну слабость: скупал для себя портреты императорской царствовавшей фамилии, при чем и эту слабость свою совсем не скрывал.)

В правленской члены правления, терзая тоску так же покойно, как мальчики, — придумали, — Полунин и Иван Альфонсович подали мысль, — устроить вечер в складчину, с приглашенными по списку, и так, чтобы приглашены были исключительно хорошенькие барышни, — бал красавиц, так сказать, устроить. Весь этот вечер зарождения идеи в обсуждении ножек, подъемов, торсов, бюстов, глазок, шеек, овалов, — по-пушкински терзал Полунин край стола, диван и комнату от двери в угол, — по-лермонтовски мчал на стуле Горев, — по-карамазовски дремал Альфонсыч, с папиросой меж усов и с пеплом на жилете, — и голову склонив на трость, как Кони, обсуждал Вантроба.

И список был составлен: тридцать семь дев, тридцать мужчин.

И было высчитано: каждому нести муки два фунта и по три тысячи денег. Правление же отпускает — помещение, свет, прислугу, — и покрывает все перерасходы.

Но был составлен еще и малый блок, фракция по бане — —

(— — глухою ночью, в глухие дождь и ветер, в глухой бане на курьих ножках — гусару

Гореву, Полунину, Арише Рытовой, варить — и поучать Альфонсычу. Ах, как громко смеялась Ариша Рытова!..)

И перед балом с красавицами многими проделан был таинственный путь: — барышням (красавицам!) к Арише Рытовой в столовую внизу за кухней, мужчинам к Полунину в парадный зал наверх, где по стенам стояли гигантские рабочие из Росты, — и оттуда всем в таинственный вишневый сад, в семейную купеческую баню, — чтоб поострить в таинствии и выпить таинства самогонений, — а там, у забора, в тоску, итти в клуб профсоюза, чтоб веселиться, кушать и танцовать. А в клубе — Ариша же Рытова и другие красавицы — с утра варили, пекли, жарили — пирожки, крупеники, коржики, баранину, тянучки.

И сошедшись в вечер на бал, красавицы и кавалеры, проделавшие банный путь и нет, сели за стол в читальне, за кофе ржаное с пирожками, коржиками и тянучками, — должно быть, алкоголь в иных случаях заменяется углеводами, — ибо от едова, от кофе и коржиков раскраснелись лица, завеселились глаза и языки, — и руки (красавиц и кавалеров) потянулись за коржиками ненужно жадно в стремлении уцепить больше чем можно пятью пальцами. И даже тарелки, жадно пустевшие, срывались несколько раз из рук со стола. В крике (в какофонии, в сущности, звуков, ибо взывал уже рояль) было очень весело — и — и жутко сиротливо, — в крике, в рояльном марше, в электрическом свете, в тесной читальне, у стола, затесненного тарелками, кружками, телами, руками, словами и криками, маршем рояльным. Суматошась, уже за столом стали кавалеры выбирать царицу, наметив в короли Ивана Альфонсовича Моржа, и шумно обсуждая экстерьеры (ах, любопытно знать, какие испытания испытывать красавицам, когда здесь в соревнова-

нии обсуждаются их подъемы?!). В стесненной читальне, в стесненном воздухе, стесненными желудками, уже завелись кружки для моргалок и жгутов, в ожидании, пока не наелась таперша, заболевшая на сегодня для кинемо. Красавицам (как некрасив, должно быть, русский народ, ибо красавиц, подлинно, не было ни одной!) — красавицам нести поэзию — в ночь, в клубе профсоюза, в бывшей «Трезвости», залитой электричеством, — ибо тридцать семь дев и тридцать мужчин — запев, запев всяких кончин. И тогда, —

вот знаете, как подпасок пастушьим кнутом, изгибаясь лозинкой от напряжения, кнут, как величайший примитив, змеей выкидывая вперед, ни с чем несравнимый извлекает звук бича, —

как метельная метеленка воронкой в воронку ежась,

с губ в губы передалось, как звук бича и бьющие бичом, два слова:

— Товарищ Ордынина — —

На лестнице, к барьеру прислонясь, в кожаной куртке и с револьвером у ремня, опустив глаза (и была она единственной красавицей на балу красавиц, с полуопущенными глазами, похожими на павлиньи перья), стояла товарищ Ордынина с нарядом солдат.

И поспешно, опустив глаза, спотыкаясь о ступени, проходили мимо красавицы и кавалеры, чтобы в безмолвии, лойяльнейшем и мирно-честном, рассеяться по городу и ночи, не успев оттанцовать и съесть баранину с картошкой. И даже Морж, как член правления запасный ход нашедший, выказал некоторое беспокойство, как кошки — чуя валерьянку.

Товарищ Ордынина простояла четверть часа безмолвно и неподвижно, опустив — единственная красавица —

глаза, как перья из хвоста павлина, и затем ушла с нарядом солдат.

— Я не тревожу вас, граждане! —

В полях, проселками проезжая, ямщики, — в разговоре о версте в езде, — каждый ямщик расскажет про кобылку визгушу. Есть такая разновидность девственниц лошадиной породы: бесплодны они, как библейские смоковницы, и даже в октябре визжат, задрав хвост, за пять верст учуяв жеребца. А когда жеребец проходит мимо, они брыкаются, хвост поджав. Они навсегда бесплодны, их зовут визгушами. — «Вот. Начинается этот культ, культ старых дев, лимонад из похоти мужские и женские, который квасится в собственном уксусе, вместо того, чтобы давать лозу»: — но эта последняя фраза в кавычках — не моя, а Розанова, — этот последний абзац не об Ордыниной, а о тех, что рассеялись по городу от Ордыниной и ночи.

(Впрочем, отделом исполкома, ведущим акты гражданского состояния, установлено безмерное количество браков, при чем контингент (персонально!) брачущихся и разводящихся — один и тот же: Иваны Альфонсовичи.)

Вот, не сказано мною, автором, но знаемо уже, что над землею октябрь, с полднями как сумерки, с пустыми окнами, опустошенными опавшими листами (и с этими опавшими листами, летящими по улицам в сиротстве, в жестких сумерках, в дождях, как сплин!), с ночами глухими, как баня на куриных ножках в саду ночном, глухом и

мокром, как октябрь. И кругом пожелтевшие холмы, как задний план на картинах эпохи Ренессанса, и леса, осиротенные волками. И если посмотреть с холмов даже в полдень, — ибо полдень как сумерки, — увидишь — там в лощине — за огромным забором трубы и цеха завода, пирамиды каменноугольной пыли у шахт по скату вправо, помет мушиный изб рабочего поселка, кресты окаменевших переулков в каменных домах поселка городского, тоску, печаль, дым труб и каменноугольную — от шахт — пылищу, все побуревшее в тяжелой индустрии. А ночью (черной как сажа, и лишь в морозы лоснящейся антрацитом), — там в лощине — кажется — садится чорт, ворочает колесо (беззвучное) лощинных дел, дышит домной и, как заборники заборы, торчащие в тоску, решетит ночь лоскутьями турбинных электричеств, газовыми фонарями, — а пред рассветом воет воем заводского гудка, — чорт с чортом и богом.

И вот отрывок из поэмы чорта (из колеса лощинных дел):

> Черною ночью, в черном углу своей каморы, на кровати с черным мешком соломенного матраса, просаленного сажей, потом, человеко-клопиной кровью, рабочий-шахтер (в черной саже и пыли, въевшейся в каждую пору) спал с тремя ребятами, из которых старший заборник, и с своей женой, которая казалась подлинно славянкой рядом с негром интернациональной тяжелой индустрии (и ведьмою в лохмотьях, в косматых волосах, с лицом отекшим), — спал так, как в этой же избе (много худшей, чем баня на куриных ножках!), в других каморах спали так же и такие же рабочие-шахтеры. И черным воем

> в черной мути завыл гудок. Тогда рабочий встал и плескался над помойником водой без мыла; жена дала ему картошки, соли, хлеба, — он ел. Тогда жена ему свернула в узелок из тряпки: картошки, соли, хлеба, — и он ушел. Мог бы он в черной мути предрассвета пролезть сквозь щель в заборе, но по привычке шел две версты кругом, в ворота, глотящие людей узчайшими сходнями с архангелом и бляхами. У бадьи, у жерла шахты, в очереди он стоял и ждал, надев шелом из кожи. В бадью ступая, он перекрестился трижды, по привычке, и вздохнул (ибо по статистике на тысячу шахтеров в год — через каждые три дня увечье или смерть), и, в голос всем рабочим, молвил: — «С богом!» — чтоб кинутым бадьею быть на триста сажен вниз и там, в извечном мраке и в дожде извечном, с фонариком у шеи, бурить бурки, вбуряясь в смерть. —
>
> А жена шахтера рабочего, у себя в каморе, подлинно славянка и ведьма, в лохмотьях и лохматая, подвязав отекший живот веревкой, варила в общей печке картошку и караулила, чтоб не украсть соседям, шлепала младшего, замочившего перину, прогнала Митькю заборничать — и караулила, и караулила, и караулила, чтоб не украсть соседям ее брахмат и чтобы украсть при случае брахматы у соседей — — —

Вот отрывок из поэмы лощинных дел.

Впрочем, тридцать лет назад здесь не было ни шахт, ни завода, ни гудков, ни турбинной, ни этих рабочих, гудящих шмелем тяжелой индустрии. А шумел вокруг зеленый лес, шелестели одинокие ржи и пели тихие под

небом наши русские песни — тихие под небом наши русские пахари.

Впрочем — лесовик Егорка, лежа костляво на снегу, сказал: — Я Красной Горке — миллионы девок берегу!

Этой главы название: —

— ЗАБОР, ТОРЧАЩИЙ В ТОСКУ —

ГЛАВА ВТОРАЯ

С каждой истерикой стоянок, коими эпилепсировал поезд, передвигаясь по карте Европейской Российской Равнины от периферии к Москве, — все яснее было Тропарову, что это — только желтая карта Великой Российско-Европейской Равнины — Императорского Топографического Департамента издания 15 декабря 1825 года, ибо, как на карте, не жаль желчи желтухи и желтого порядка — желтых лиц и пожелтевших от времени бумаг. Желтое. Бледножелтое. Зеленовато-желтое. Каждая новая — от периферии к центру — топографическая точка (с нелепыми названиями русских наших станций), связанная на карте черточкой, обозначающей железнодорожную сеть, — каждая новая говорила, что и эпилепсия может упорядочиваться желтухой, станционными службами в охре, лицами в сплошном желтом синяке и в движениях, медленных, как бледная немочь желтухи. В международном вагоне, где ехал Тропаров, проводник международного вагона, в желтухе блузы и штанов, жужжал пульверизатором и сулемой, и поэтому на топографических точках эпилепсии сторонились канонизированные мешечники международного вагона, как — дома товарища Ордыниной, что ли. В международном же вагоне ехал из Персии с семьей и домочадцами член ЦК ИрКП (Центрального комитета Иран-

ской коммунистической партии), желтый по происхождению и со странным запахом, врезавшимся Востоком в международный вагон и сулему (ползущие по желтой карте издания 15 декабря 1825 года), — Востоком шепталы, кишмиша, лимона, трапезундского табака и детских пеленок, — и он, член ЦК ИрКП, был не по-восточному счастлив, по-восточному наивный.

Ему же, Тропарову, поседевшему уже, — кинутому быть, как лист в осени, в пустые улицы пустыми ветрами. Впрочем, откидывая назад истерики стоянок от периферии к Москве по карте Российской Равнины, врезался поезд в белую пустыню снегов почти четырнадцатого декабря 1825 года, — и четким кругом на шпице Николаевского вокзала в Москве стала цифра на часах шесть, —

ибо поезд, прорезав снега почти 14 декабря 1825 года, теперь впер в Москву Аполлинария Васнецова.

Сиреневыми и синими туманами творился над Москвой рассвет. В купэ были спущены шторки, и во мраке копошились, как жулики, грязные тени рассвета. Когда член Ортечека осматривал предупредительно вещи, человек в пальто и котелке, инженер из Голутвина, сродненный поездом в скуку, сказал Тропарову:

— Вы заметили, — сказал тихо инженер, — рассветы, в тот момент, когда ночь борется с утром, — всегда грязны. В комнату входят грязные тени, лица, особенно женщин, кажутся серыми, нечистыми. Мне чаще приходилось встречать рассветы с женщинами, и так мучительно жаль ушедшей ночи. Рассветы — грязные, они мучат.

— Я уже три года живу в деревне, — ответил Тропаров. — Ложусь с курами. Рассвет я часто встречаю, но только после крепкого сна. Наоборот, я люблю работать ранним утром.

Инженер помолчал.

— Завтра я тоже буду встречать рассвет. С женщиной... И послезавтра.

— И будете мучиться?

— И буду мучиться, — ответил серьезно инженер. — Потом уеду в Коломну, чтобы тоже мучиться.

Над Москвой, на западе, красно догорала мутная луна, но на востоке небо уже поредело. От ночных костров, от домов, от фабричных труб шли дым и пар, смешивались с туманами и застилали Москву синими и сиреневыми пологами. Все больше растворялось в воздухе сини, чтоб уготовить лиловый восход — —

(Что бы было, если на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для Москвы, пользуясь тюбиками психик — Аполлинария Васнецова, Чурляниса, Босха и, конечно, Ленина и Троцкого? — Впрочем, я не поручил бы этого Достоевскому — —)

В это же утро над Москвою творился, творимый Васнецовым, обыкновеннейший тихий рассвет. Москва еще не просыпалась, и по улицам не бегали даже собаки, как в Константинополе. День рождался, как триста лет назад, с салазками, одиноко выползающими на середину улиц из глоток подворотен. И с салазками же, во Дворец Искусств на Поварскую, просто применившись к валюте хлебом, спящую пересекал Москву (Москву Аполлинария Васнецова) Тропаров. Перезванивали колокола в церквах в рассвете, как триста лет назад, и Красные Ворота сдвинулись на два столетья вглубь. Назад три года — до Памиров — Тропаров сменял Москву на глушь, затем, чтобы работать так, как бог послал. На Лубянской площади, где жил в безлюдии Китай-город, на углу Мясницкой, в землю вросшая томилась Гребневская

божья матерь, с колокольней низкой, как шатры царей на охоте с соколами, и малиновая в благостном рассвете, и на ней малиновыми звонами звонили колокола. В темной церкви, в темных сводах и в низеньких колоннах, с ящиком общины слева, с свечами бледными перед иконостасом, в печали тусклой образов, — было древне. В алтаре священник и диакон служили утреню, и перед алтарем, согбенные и черные, как маятник, качались спины черных женщин. Слова из алтаря лились священно, и бледный мальчик вышел к паперти с тарелкой. — И этот бледный мальчик, и нищая на паперти, и салазки в снегу на Лубянке, и сама эта Гребневская божья матерь, и Китайская стена с иконами Никольских ворот (вывески ведь сорваны в Москве), и это ночное безлюдие, даже без собак, — двадцатые ли годы двадцатого столетия?

Впрочем, с Никольской в Малую Лубянку рявкнул мотоцикл, в мотоцикле, откинув утомленно и безразлично голову, сидела женщина в мехах, и лицо ее показалось Тропарову зеленым, а волосы — цвета мальв, — русалочье лицо. — А ночь уже ушла. Над Китай-городом, над Кремлем вдали, над Охотным рядом стоял, кутая их, сиреневый туман. Через него красным шаром из-за Замоскворечья вставало солнце из ночи, как триста лет назад.

— Что бы было, если бы на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для росписи Москвы из тюбиков психик — Аполлинария Васнецова, Чурляниса, Босха, Ленина и Троцкого? — Я освобождаю Аполлинария Михайловича Васнецова и его Москву, в которой приказано было ходить ночами с фонарями. Я говорю сам: — —

В Москве, где каждая квартира имеет выезд салазок совсем не для того, чтобы утвердить картину нашего

века, Тропаров, после трех дней исчисления топографических точек, успел лишь записать в записную свою книжку:

— «Рассветы мучат. Туманы. Синь. Обыск на станции. Салазки за хлеб. Гребневская божья матерь, нищие. Арестованная дама на моторе. Мертвая пустыня Москвы, с тропинками среди улиц. Пули в стенах. Ободранные фронтоны и вывески — и красные вывески» записать в свою книжку и лечь спать. Золотые ломкие солнцевы лучики забрались в комнату, подобрались к лицу Тропарова, рыхлому как котлета, разбились тонкой радугой света в его волосах, растущих отовсюду. Рот Тропарова, весь в волосах, с большими губами и крепким рядом широких зубов, был полуоткрыт для дыхания, и Тропаров храпел крепко. Веки, плотно сжатые, уже в морщинах, скрывали острые желтые глазки. И все лицо, как котлета и волосатое, было во сне страшно. Долго блестел один волосик на широком, как котлета, и с маленькими тупыми ноздрями его носу.

Уменьями кинематографа не передашь. Тропаров приехал от тоски и от заборов, торчащих в тоску. — Впрочем, от семнадцатого века также не уйдешь: — ибо, чтобы триангулировать облик Москвы РСФСР, нельзя не взять в расчет теодолита, праматерь всяческих теодолитов — первую российскую обсерваторию — Сухареву башню. Ибо Сухаревкой фурункулирует РСФСР как худосочный фурункулами до лихорадок и как семнадцатый век.

— Вот они, вот они здесь пирожки горячи есть! Почтите за честь! с пыла, с жара, пять косых пара!

— Эй, барин, кошку жарил! — Эй, спеши, пироги хороши! Из конины две с палтиной, из картошки—пара трешка!

— Чиню сапоги, маментально-фундаментально.

— Эй, мужчина, в картузе, с магазином на пузе...

— Эй, держи, — держи, вора держи! Кошелек украл!..

И все это — у этих десятков тысяч площадных людей— так же просто, как стакан чая, и так же убого, как стакан чая из сушеной моркови, российская ярмарка заквашена, как фурункулез до лихорадок у худосочного. Захлебываясь до слюней в восхищении: — «Все что угодно. И масло, и белый хлеб, и материя, — все — все как раньше». — И ложь, ибо так же убого, как стакан чая из жженой ржи. Ибо — ужели же только фунт масла и французская булка — у прекраснейшего, вольнейшего алого стяга Революций, привешенная на веревочке ко знамени и тащащая книзу знамя, как крыса, привязанная за хвост... — ?

...И бабам (подлому сословию) броситься в проезд под первую российскую обсерваторию (а также — зал рапирный навигацкой петровской школы), — броситься в проезд, где на глетчерах грязи умирала баба (подлое сословие), — нето от спазм слюней, нето от тифа.

...А на Лубянке в столовой, как во всех столовых, стоять в очередях — одним с разменной, другим с крупной, третьим за ложкой, четвертым с тарелкой, — и смотреть, как между столов ходят старики в котелках и старухи в шляпках и подъедают объедки с тарелок, хватая их пальцами в гусиной коже и ссыпая объедки в бумажки, чтобы поесть вечером. Где они живут и как? — где и как?

«Последнее слово науки! Величайшая в мире радиостанция! Вся Россия триангулируется — первая в мире вся! Ни одного безграмотного! Всероссийская сеть метеорологических станций! Всероссийская сеть здравниц и домов отдыха! В деревне Акатьево — электричество крестьянам! Победа на трудовом фронте — люберецкие рабо-

чие нагрузили пять вагонов дров!» — Это пишу не я, автор. Это гудит «Гудок» Цектрана.

В небоскребе, в редакции, в комнате со спущенными плотно бархатными шторами и с электричеством весь день, сидит редактор, подписывающийся всюду — начальник. И у редактора лицо в очках и руки иссушены, как воблы. Все шепчут, что редактор ненормален, а он все пишет, пишет, пишет — и счастлив он, крестьянин Рузского уезда, Перовских мастерских рабочий, — с сотрудниками и с секретарями — стена в стену говорящий счастливым голосом — по телефону.

По Балчугу, Арбатом, по Тверской, Кузнецким, по средине улиц, с рудиментарными инстинктами умершего трамвая, спешат в коллегии и комиссариаты, с портфелями и саками, и с санками, — спешит — сволочь, некогда названная так Петром Великим в одном из регламентов, где говорилось о всяких чинов людях, о шляхетстве, о посадских людях, о подлом народе, о солдатах и: — прочей сволочи, от глагола сволакивать.

Это утренняя деловая Москва.

И женщины. Три женщины — Наталия, Анна и Мария, женщины Тропарова.

— Вечная па-амять!.. Ве-ечная-а пааамять!..

Разговор по телефону.

— Ты все такая же, Аннушка, — это Тропаров.

— Вы хотели со мной говорить, — это Анна. — Пожалуйста.

— Я живу в лесу, в маленьком домике, в полверсте от села. Сейчас там тишина и ночь с подслеповатыми зимними звездами. В селе живут именуемые русским крестьянином, сейчас они спят, чтобы встать завтра и возить дрова на завод, топить избы, кормиться и кормить скотину. За селом, за лесом, за полем — еще деревня, и еще.

Я встаю утром, надеваю смазные сапоги и иду по хозяйству или пишу.

— Или наслаждаетесь бабой Ариной, — это Анна.

— У меня есть крепкая, здоровая, глупая жена, — это Тропаров, покойно.

— Ну, да, — ну, да. У Достоевского в «Дневнике писателя» есть где-то, — после Лиссабонского землетрясения, кажется, когда все были в смятении, вышел поэт и сказал, что он знает путь к спасению. Все бросились к нему, и он стал читать стихи о том, что смотрите, мол, какие-де звезды и в них спасение. И люди его разорвали. И они были правы, разорвавши его, говорит Достоевский. — Вы говорите, что у вас село и еще село с мужиками, как дикари. Я знаю еще, что вы думаете, — это на самом деле, что все мы здешние похожи на пирующих во время чумы. Что же — правда. И все же я презираю вашу правду, презираю!

И весь этот разговор — в спокойствии уверенном одного и хладности, как кипяток, другой. И два телефонных ящика, чтобы быть терзаемыми: у рыцаря в латах и нафталине, в поблекшем плафоне манеры Рубенса во Дворце Искусств, — один, и другой — на Собачьей Площадке у дивана в пестрых шелках и подушках, и в духах, как женские руки. — Потом была Собачья Площадка, и Собачья Площадка, Хомяковых и Аксаковых, вновь расписывалась Аполлинарием Васнецовым, зимними тусклыми светилами, пока небоскреб не скомкал вафлями окон и эти звезды, и Васнецова, чтобы там, в небоскребе, в шестом этаже — целовать — — — — — Анны, а Анне — бросить судорожно со стола в книгах с автографами под стол, измяв, фотографию поэта.

— Милый, я тебя уже встречаю не та, не чистая. Помнишь, тогда, давно ты унес все мое, всю меня. И кинул, не сказав, что у тебя есть хутор и баба Арина. И мне

ничего не осталось. Этот поэт мой... мой любовник... Маленькая радость, быть может, последняя... А до него были еще. были еще... Но ты теперь пришел, ты отнял его у меня, я опять твоя. Ты завтра снова меня кинешь. И я останусь одна — на Собачьей Площадке... А поэт... Ты меня опять кинешь, Дмитрий?

— Нет, я не кину тебя, Анна.

— Ты лжешь, Дмитрий. Ты завтра же напишешь об этой ночи в свою записную книжку. Как тогда. Я знаю. Это будет материалом.

Собачьей Площадке отбыть ночь почти четырнадцатого декабря 1825 года, чтобы вписанной быть в толстую записную книжку, — в записную книжку писателя Тропарова, кинутого, как лист в осени, в пустые улицы пустыми ветрами смерти Марии.

Этой же ночью на Плющихе у Наталии Николаевны, в белом доме, за палисадом, в рассвете — в муке рассветной — сидеть и слушать: слушать себя и Наталью Николаевну.

(Странное слово — Плющиха. Там, дальше — Девичье Поле. Почему кажется,что в старину на Плющихе должны были кушать яишенку? И обязательно у каждой мамы пять детишек!—)

— Кузен, нам надо поговорить. Я ведь многое могу рассказать, что тебе интересно. Ты все такой же... Ах, да, мы говорили утром о кроликах, — они умерли. У меня живут две курсистки. Они просыпаются рано и читают «Известия», скучая от них. Днем они ходят на курсы и в какую-то грязную столовую обедать. Вечером они всегда дома. Иногда к ним приходят два студента, их земляки, тогда они на кухне из ржаной муки делают кэкс и душатся одеколоном. Студенты снимают свои пальто у них

в комнате и кладут на кровать, в синих рубашечках они сидят у стола и пьют с кэксом чай до красноты, и говорят про какие-то студенческие дела: про комкомы, про учителей и экзамены, про червяков из сельдей в своей столовой, про вечеринки. Обязательно сплетничают про своих земляков и вспоминают родину. Потом студенты одеваются, остря, как семинаристы, и уходят, а барышни еще долго сплетничают: об этих студентах, и запоминают — кто кому какой сказал комплимент и как они ответили ядовитыми колкостями. Потом они идут в уборную и ложатся спать... Но студенты к ним ходят редко, и тогда они ложатся в восьмом часу... Кузен, ты слышишь? — Я за ними очень часто наблюдаю: мне не жалко моего времени!.. Потом они кончат, уедут из Москвы, их мобилизуют, они выйдут замуж, если выйдут... и — будут счастливы... — Я сейчас изучаю Карла Маркса и старинную русскую живопись: я никак не полагала, что всякая завитушка, всякий изгиб, всякое нагромождение на старинных иконах — так продумано и закономерно, кузеник... Потом я изучаю музыку, кузеник, я начала ее изучать в прошлом году — тридцати лет. Ну, вот... Ты слышишь, кузен?.. Я на Сухаревке купила себе двух кролят, я завернула их в вату, положила в картонку и поила их молоком. Они едва ползали. Я все дни возилась с ними, и все же они умерли, оба сразу. Когда они умирали, я плакала... Я плакала над собой, кузен, над моею жизнью. Я думала о тебе, милый, кузеник... Нет, кузеник, я солгала. Я мучусь своею жизнью, — милый, у меня так много жалких минут. Мне очень больно, кузеник, и я совсем не коммунистка. Позвони Анне, братик... Помнишь то лето, братик, уже давно, у меня в имении, — мы целовались с тобой на террасе, прощаясь. Да-да... Там же ты встретил Анну, и она стала твоей женой, ты ее увез в Москву, и я поехала за вами, — за вами...

И тогда в рассвете зазвонил телефон.

— Милый, милый. Ты обещал позвонить, когда придешь. На Собачьей Площадке уже бьют колокола, я и не сплю. Ты меня любишь. Да?

— Да-да.

— Мне можно покойно лечь спать. Да?

— Да-да, ложись.

— Я лягу сейчас, я покойно лягу, я послушная, милый. Мы завтра увидимся. Да?

— Да-да, до завтра.

И тогда поспешно выбежала из своей комнаты Наталья Николаевна, с распущенными волосами.

— Тебе звонила Анна.

— Нет, звонил загулявший товарищ.

— Нет, ты лжешь... Тебе звонила Анна. И ты лгал — ты был у нее. От тебя пахнет ее духами — ее. — И Наталья Николаевна ломает руки над головой. — Она — развратная, мерзкая... Зачем?.. я ждала... Зачем?.. я ведь тобой живу... Зачем?..

Собачья Площадка и Плющиха — Хомяковым, Аксаковым и яишенкой. Ну да, у писателя должна быть толстейшая записная книжка. Тропаров не звонил больше ни Анне, ни Наталье.

Вечная па-амять!.. Вее-ечная-яа пааамяять!..

И третья. Мария. М а р и я,—как тридцать два процента всех русских Иванов.

Поварская. Дворец Искусств. —

— Это не союз писателей в Центроспирте Дома Герцена, где пишут почему-то по старой орфографии. Это не союз поэтов из магазина Домино, где почему-то консолидируются с су-

тенерами. Это не департамент Лито, где почему-то стряхивают с хартий веков пыль департаментов и цензур. — Но здесь и пишут по старой орфографии и не пишут. Но здесь и консолидируются с сутенерами и не консолидируются. Но здесь стряхивают и не стряхивают с хартий веков пыль департаментов и цензур. — На чердаке Дворца Искусств начал писать свою «эпопею» Андрей Белый — —

Дворец Искусств. Поварская. — Летом ходила по Дворцу Искусств знаменитейшая актриса голой, ходит по Дворцу Искусств приведение, оставшееся от графов Соллогубов, — черная женщина. В доме, видевшем горячку и смуту французов и слыхавшем растопчинские глупости, глупости, к народу — писатели, поэты, актеры, художники, музыканты — во флигелях, в подвале, в залах и гостиных с рыцарями и без них, на чердаках, — чехардой, — ели, спали, писали, сплетничали, влюблялись, скучали, пили водку, играли в шахматы, устраивали вечера, концерты, словоблудия, выставки, как подобает. Как подобает, ходила актриса голой, и как не подобает, ходит привидение, еще от графов Соллогубов. — Но жило еще во Дворце столетье теней графов Соллогубов, — и тени эти черной чередой столпились в церкви — —

во Дворце Искусств рядом с белой концертной залой есть у графов Соллогубов — черная церковь, в черной череде печали понявшая бога монахом, содомитом и урнингом Великих Инквизиций. Графам Соллогубам, —

в их тамбовских, казанских и тульских рабах, — в гусях, свининах, пулярдках из вотчин, — в конюхах, лошадях и лакеях, в девишных гаремах и хоре цыганском, — пред двуспальной кроватью под балдахином с законом жены и потомства, — в аглицких клобах и выездах, в штоссах, бостоне и вистах, рейнвейнах, глинтвейнах, шампанских, — в похождениях кавалера Фоблаза и в сальных свечах на балах перед гусем с моченными сливами, — с горничной смуглою перед двуспальным законом жены!

— как же графам Соллогубам не понять бога монахом, содомитом и урнингом, чтобы с сальной свечой перед спальной услышать —

— проклятье — — господне!

И в доме, где поэты, писатели, актеры, художники, музыканты, спят, едят и живут, как всегда в сладком запахе тленья, где ходят привидения и голая актриса, — там у концертной залы и посейчас — поистине святой священник — служит богу в домовой церкви, в черной череде умерших Соллогубов. И это и есть Дворец Искусств, как сердце подлинной поэзии всякого художества. — Ну, конечно, если бы не было Тропарова, — не было бы ни дворца, ни церкви. И по ночам, медведем, с лицом холодным, как холодная котлета, молился в церкви — или думал, стоя на коленях — Тропаров — о сестре своей, родной, единственной — единоутробной — о Марии.

— Веечнаяяа паааамяать!..

В клиниках, в больницах Старой и Новой Екатерининских, в Александровской, Солдатенковской, в Бахрушинской и в десятках иных, в хирургических отделениях, где нет ни марли, ни лигнина, ни ваты, ни иода, — в хвост, в очередь, пачками, — величайшая радость, величайшая тайна зачатия и рождения! — пачками толпились женщины, чтобы сделать хирургическую операцию, — аборты, когда женщину связывают, распинают и — прекрас-

нейшая радость, прекраснейшая тайна зачатия — скоблят металлическими ложечками, — не как в тифу, обривая волосы предварительно, а не после. И в приемных, в амбулаториях, дежурках, хирургических отделениях — в хвост, в очередь, пачками — толпились женщины, чтобы просить об абортах, — конечно молодые, ибо старухам не надо абортов.

— Как по Балчугу, Сретенке, Смоленским, Солянкой, сыплют — санками, саками и портфелями — бодрая сволочь.— Сссс.— Чччч.—

И Тропарову надо было обойти все пачки абортов и все больницы, — чтобы —

чтобы в одной, совсем неизвестной, получить от усталой хожалки рваную бумажку,

— где на одной стороне было написано: «С совершенным почтением Торговый Дом Кукшин и Сын» — а на другой стороне курино: — «Мария Гавриловна Трупарева, двадцати двух лет, скончалась от воспаления мозгов, схоронена на Донском кладбище, — »

— чтобы узнать Тропарову, что Мария умерла совсем не современной болезнью, — чтобы пойти Тропарову на кладбище, в Донской монастырь, за Донскою улицей, —

— Донскою улицей, пустынною, как Куликово поле, опустошенною несмятыми снегами и разоренною заборами; и белою жизнью жило кладбище, странными белыми плитами, уничтожившими всякую статистику, — и выползло на каменный забор кладбище, на пустыри к березкам, к рядам могилок без крестов и с номерками, где десятками сразу и малыми кучками, пачками, привычно, без попов и без ладана, хоронили под белым небом в землю

белые гробы, привязывая к прутьям на могиле свежие номерки; и землекопы с планом рыли могилки впрок; а в сером дне и на березках каркали вороны и жрали на могилах в разрыхленной земле червей, —

— чтобы найти Тропарову на плане в конторе могилку Марии

— и не найти там, — на огородах, — могилки: — Тут вот, тут вот, рядом, эта или та, или в том ряду, — милая! Милая! Милая! Мария! Маринька! Машенька! Родная! Милая! Сестриченька! Милая! Родная! Маринка, единственная, сестреночка!..

— чтобы даже не плакать Тропарову,

чтобы у монастыря на обратном пути — фу, гадость! — в сумасшедшем доме, как пощечина, из форточки услышать истошно вывизгнутое, бьющее писком по щекам:

— Да здравствует Учреди-и-тельное Собрааниее!! — и сыплет мелкий снежок, и перезванивают колокола,

— чтобы, — чтобы во Дворце Искусств, в черной церкви, понявшей бога монахом, содомитом и урнингом, стоять Тропарову всю ночь медведем, с лицом тупым, как холодная мясная котлета, тосковать, томиться, болеть, не зная места себе, глубоко вздыхать.

— Ве-е-ечная пааамять!..

— Слушайте, Тропаров, вы веруете в бога?

— Нет, но тут в церкви одиноче как-то.

На Волхонке, где Волхонка обрывается площадью Храма Христа, на углу, где раньше был цветочный мага-

зин и затем гараж, — из благодатного снежка и из тихого вечера, благодатного, как яишенка, вырос тот инженер из Голутвина, сродненный поездом в тоску.

— Это вы?

— Да. Здравствуйте. Ну как?

— Что же, рассветы мучат?

Инженер ответил серьезно:

— Мучат, — и отвернулся к Музею изящных искусств. — Мне как-то рассказывали, — один интеллигент, врач, кажется, женился не на девушке, прожил с ней тридцать лет, а потом — задушил: не мог простить ей недевственности. На суде выяснилось, что всю жизнь он ее истязал, любил и истязал. Вы понимаете?.. Собственно, к чему это? — Инженер бледно улыбнулся. — Устал я. А знаете, мне второго рассвета встречать так и не удалось, с женщиной. У нее после аборта осложнения. — А знаете, меня Гомза и Отдел Металлов, кажется, пошлют на ваш завод восстанавливать индустрию. —

Инженер снял свой котелок и провалился, отрезанный переулком за музеем, в вечер, благодатный как яишенка.

В зарядьи, у Кузьмы Егоровича, где из окон видны лишь валенки, низ пальто и юбок, а кирпичи стен с потолка донизу в книгах, — Кузьма Егорович, в вольтеровом кресле, в жилете, в валенках, в очках и с бородою Иоаннов. И слова его, как сельтерская:

— Верный сочинитель. Верный заветам русским. Читаю. Благословляю. Верно все описываешь, правду. Садись, гость дорогой. Дай обниму. Солнышко помнишь. — Живу. Живу по-старому. Сыт, слава богу. Езды много. По всей России ездим. Книги собираю. И письма. Старых писателей. Материалы. Сколько теперь нагромили. Прямо приезжаю, и в дом, на чердаки и прочее. Архивы тоже городские беру. Много нагромили. Грамоту имею, царь

Алексей Михайлович дал городу Верее. А литература — щеночки по ней забегали, щеночки, обоих полов. —

И Тропаров, заметавшись на стуле, недоуменно-медведем, с лицом, как котлета:

— Кузьма Егорович. Ну, скажите мне, — ну какое экономическое бытие определило, чтоб стать мне писателем, и ничего не любить, кроме писательства, и ходить все время по трупам? Ну, скажите мне ради бога, — какое?..

И сумерки, и снежок, и за окнами в паутине — валенки, низ пальто и юбки, степенные, как валенки, и семенящие, как юбки, — и на инкрустированном столике: бутылка коньяку, лимон и сахарная пудра.

— Зачем приехал?

— Посмотреть.

— Ну, выпьем. По-старинному

И валенки, и борода Иванов, и очки, и жилет на красной рубашке, в вольтеровом кресле.

— «Ира», «Ява» в рассыпную! «Эклер» в пачках! —

Мария хожалка обозначила — Трупарева. Писатель Дмитрий Гаврилович Тропаров. При чем — труп? И разве не разлучается слово Тропаров призмой, разлагающей лучи слова, — Тро-паров. — Тропа — в рвы. И иначе с конца: вора — порт, — ибо порт, где тысячи черных человечков торчат в корчах тюков, не ограблен ли — вором? Или иначе: — вор — апорт, — яблоки такие апорт, даже не зимняки, ибо умирают в золотую осень. Тропаров: вор — порт: труп.

— «Ира», «Ява» в рассыпную! «Эклер» в пачках!..

И в Чернышевском переулке, озираясь по сторонам, татарин:

— Шурум-бурум па-купаээм!..
— Почему исчезли шарманки?!

Тропаров приехал в Москву по желтой карте Европейской Российской Равнины, Императорского Топографического Департамента издания 15 декабря 1825 года. Первая в России обсерватория (а также зал рапирный навигацкой школы) — праматерь всяческих теодолитов — Сухарева башня. И вся Россия триангулируется: первая в мире вся.

Аах, если бы, если бы, если бы,

— если бы уничтожить фурункулез Сухаревки и харчевен, извозчиков, мальчишек с «явой» — Дворец Искусств, — Анну, Наталью, Марию, Тропарова, — бодрую сволочь на Балчуге, — и оставить — больницы, кладбища, Лито, Кузьму Егоровича, —

— тогда можно было бы, можно было бы тогда — — ведь исчезли уже шарманщики. Ведь нельзя уже поставить точку над *и*, ибо мы не союз писателей и пишем по новой орфографии.

— И — лирическое отступление, —

— ибо отступление разве преступление, — когда отступление со всех фронтов было средством первейшим и первейшей сепией для

— РСФСР — ?

— ибо у каждого в кармане разве сердце не ранит — мандат?.. Ибо каждый обыватель разве не рад — глупейшему слову —

ко-ро-ва! — ?!

Вот, советской работнице, совершенно ответственно необычайной, сказать бы:

— Товарищ, вместо квартхоза — не хотите ли свадьбы и тихой прозы — с любимым прекрасным, нежным, в этакой квартирке с хризантемами, с самоварчиком неизбежным, со старыми темами — целомудрия, верности, чадородия, Тургенева. — Ну-ка. Где же любовные муки? —

— Впрочем, к чорту! Воздух достаточно сперт.

Этой радости, этим дням и неделям — я кричу о свободе и младости, о величайшей метели. Надо величайшую анархию и величайшую метель, чтобы рассечь олигархию этих недель.

Впрочем, и это к чорту.

Князю Мышкину (из Достоевского) броситься надо с какой-то вышки, животиком, на землю, на петербургские дворики, ибо всюду эротика, а все мы — —

Впрочем, и это — к чорту.

Ибо быдло валит сволочью по Балчугу. И разве слышно теперь о самоубийствах? — цепкое быдло, — до абортов.

— Уезжаешь, Дмитрий Гаврилович, — это Кузьма Егорович. — Ну, прощай. Дай обниму. Верный сочинитель. А что баб без толку портишь — нехорошо. Порицаю. Дай обниму. А ежели услышишь — писателей где громить будут, напиши, приеду за материалами.

— Уезжаю, Кузьма Егорович. Писать надо. Да и того, не по мне.

И четким кругом на спице Николаевского вокзала с Каланчевки стал циферблат, чтобы указать час начала эпилепсии поезда, — эпилепсию в волчью пустыню Российской Равнины.

Этой главы название:

ТРОПА В РОВ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Третьей главы название:
ВОЛЧЬЯ ПУСТЫНЯ РОССИЙСКОЙ РАВНИНЫ.

И от центра к периферии каждая истерика стоянок раскрепощала эпилепсию от желтых желтух карт, Ортечека и Утечека, чтобы эпилепсия была только эпилепсией, спутывая карты всех веков и десятилетий российских бытий, чтобы —

— чтобы въехать в земли товарища Ксении Ордыниной.

«Ветер рассыпает белый снег, швыряет ветви берез, свистит у корней и несется. Я иду за ним, прислушиваюсь и радостно жду. Я слышу крики и вопли: снежные вихри кружатся у моих ног, — я не оглядываюсь: нет ничего, на что я оглянулась бы туда назад. Обнаженные тонкие ветки скользят по моему лицу мимолетным холодным прикосновением. Я прижимаюсь к стволу, и он вздрагивает под моим плечом, точно живое от затаенного дыхания. Вершины кланяются одна другой и вдруг все вздрагивают, падают, кричат и стонут. В бешеной судороге отряхивают клочья снега и опять замирают, и раскачиваются медленно и устало, тихо шумят, прислушиваются и шепчут. И снова крики и движения. Волна воплей катится по вершинам,

сгибаются осинки, и белые кружева березок треплются по ветру. Ели шипят, машут ветвями и изнеможденно замирают до нового порыва. Тонкие сучья ломаются и хрустят, как маленькие льдинки, и летят мертвые листья, путаясь в ветках: скорченный черный листок зацепился за пни, торопится и шуршит, продираясь сквозь чащу можжевельников и кружась с метелью. Молодые березки поют и кричат, они преданны и пылки. Черный листок взлетает над вершинами, — сосны гулко и шумно передают известия о необычайных победах там, внизу. Что такое сегодня случилось здесь? — я слушаю и замираю, широко раскрыв глаза, и удивляюсь, и понимаю. Я иду в диком поезде метели и ветра. Снежные пелены обвивают меня и скользят между рук.

«— Даже если б мы умерли!

«— Даже умерли, даже умерли, даже умерли!.. — — хватает ветер и кидает в сугробы! буйный и дерзкий, и взметает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая! — Даже, если б мы умерли!»

— И в метели и ветре, в черных сумерках, вереницей, след в след (и сейчас же следы заметает метель) идет стая серых волков, прибылые, самки и вожак впереди. Волки идут в ночь, разве страшна им метель? Проселка уже нет, овраг остался вправо. В лесу на полянке, у опушки, полуразваленный, без служб (ибо лошадь и корова стоят в зале) каменный дом смотрит в метель тремя освещенными окнами. Волки не подходят близко к окнам, садятся за деревьями и воют, как метель, вытягивая нерв за нервом, но

она не видит волков, она проходит близко, мимо окон, тех трех уцелевших, ибо (она знает) в зале — каретный сарай, а в диванной и угловой стоят лошадь и корова, — в доме прожившем, как соллогубовский на Поварской, столетье. —

И в этот час к полустанку, последнему перед городом, из метели наползает на избы полустанка поезд, чтобы весь полустанок дрожал и жил.

— Динь, динь! — второй звонок. — Жезлу, жезлу давай!

— Куда прешь, сучий нос?!

— Мое почтенье, Дмитрий Гаврилович! Как съездили? — Давай третий!

— Касатик, да я уж третий день...

— Папа, папа, здравствуй! Это я! — это Владимир, в тулупе и с тулупом в руках, степенный, как осьнадцать лет.

— Куда прешь, сучий нос?!

Станционная изба курится махоркой, из темных углов, с пола торчат огоньки цыгарок, ждущие очередей недели, — визжат двери блоками, и в избе нет никакой метели. — Валенки надо надеть и тулуп, подпоясаться кушаком.

Дверь скрипит блоком, съедает свет, поезд уже ушел, и на станции мрак и метель.

— Слабо ты чресседельник подвязываешь, Володя.

— Папа, ты мне привез Мензбира «Птицы России»?

Скрипят сани, едут по столбам, мечет, мчит метель. Володька стоит в передке кучером. Мрак. И станцийка уже исчезла в черном мраке.

— Папа! А у нас новости, — волков, волков кругом набежало! У нас три ночи выли возле дома. В Дарищах корову задрали. А то все больше собак.

— Ну, как дома, Володя? Возил просо на рушилку? Корова причинает?

Ведь Тропаровы — единственные оставшиеся помещики, ибо к девятьсот семнадцатому году у них ничего не осталось. И весной Тропаровы ели: грачей, ворон, птичьи яйца и крапиву, а отец и сын еще также — свежих лягушек. Сын Володька, пахарь, читает только Брэма и занимается энтомологией. В усадьбе все попрежнему бунинский Суходол, — жив, здравствует и хранит свои предания. — И лошадь бежит по-суходольски.

— А еще каких книг ты привез по естествознанию?

Нырнули в ухабу, — столбы отвернулись, — поле, метель, и едут уже опушкой. Шумит лес и гогочет: «Мчит дикий поезд метели и ветра».

(— Даже если бы мы умерли! —

— Даже умерли. Даже умерли. Даже умерли, — хватает ветер и кидает сугробы, буйный и дерзкий, и взметает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая...)

И от сосен, из белой пелены метели, идет человек.

— Подсадите, пожалуйста. Я сбилась с дороги.

Володька тянет вожжи.

— Пррр!.. А тебе куда надо?

— Мне?.. Куда мне? — Я сбилась с дороги.

— Да куда ты идешь-то?

— Я?.. Мне надо в город. Я сбилась с дороги...

— Эвона!.. Ну, а мы на Дарищи! Нно!

— Все равно, все равно, я поеду в Дарищи! Подсадите! Ведь я сбилась с дороги...

И они втроем, молча, в метели, едут по лесу. Не видно того мертвого листка, что сейчас взвился над соснами.

Лошадь шагом ползет в овраг и из оврага. По откосам на вырубках стоят осинки, можжуха, березки, и гудит на просторе ветер. И из метели, рассекая метель, горят три глаза освещенных окон.

Молчат.

— Ну, тетка, слезай! Приехали. Так вот, ступай рубежом и будут Дарищи, — это Володька.

— Это ведь вы, писатель Тропаров?

— Да, я.

— А я, а я — Ксения Ордынина. Мне, собственно, не нужно в Дарищи.

— Товарищ Ордынина? — Здравствуйте! Это мой сын.

Володька въезжает с санями в развороченное парадное через прихожую в зал. За семью комнатами, в другом конце дома — жилые комнаты. Горит железка. Коробом свисла с потолка штукатурка. На огромной кровати гидра спящих голов: это дети. На столе под лампой: капуста, огурцы и яблоки, — ведь яблоками и муссом из тыквы всю осень питаются Тропаровы. — Здравствуй, Суходол, — ибо за стеной, в другой комнате, другая комната по всем стенам — от потолка — в книгах с кожаными корками.

— Здравствуй, Ариша. Как дети?

— А папа мне привез «Птицы России» Мензбира...

— Даже если б мы умерли. Даже умерли! Даже умерли! Даже умерли! — хватает ветер и кидает в сугробы, и взметает пыль, и мчит дальше... Черного мертвого листочка не видно над соснами, — мертвый и так высоко!

К чему Дарищи?

— Слышишь, Володя, а ведь это воют волки.

Если же поезду, который скинул Тропарова на полустанке перед городом, пройти вниз под город еще сто верст, то въедет он в земли белых, где — — —

А чорту с чортом и богом, мастеру лощинных дел, если взглянуть теперь с холма, то холмы уже не задний план ренессансных панно, — а белая пустыня, и из белых пен снегов, под белым небом ступают рати в тридцать три богатыря — лесов, осироченных волками, снегами, ночами, морозами. Но попрежнему в ночи и в волчьем мраке, изрешеченный домной, лоскутьями турбинных электричеств, газовыми фонарями, воет воем заводского гудка, метелью плачет, гогочет гоготом лесов, гнусавит волчьим воем — лощинных дел вершитель, чорт с чортом и богом, чорт черной индустрии. И попрежнему Егорка ржет: он Красной Горке миллионы девок бережет! —

А в городе — уездный съезд советов.

— На развалинах, по горьким проселкам, в рассветах, из лесов и полей, от лучин, от овчин, от печей, от гужевой повинности — от волсоветов и от кол- и совхозов съезжались делегаты, в зипунах, в тулупах, в лаптях, — «товарищ, подсади!» — чтобы поставить в городе лошадей на

постоялом дворе советской республики № 3; — в горьких рассветах, от завкомов и цехов, от жен, шахт, станков, фрезеров, заборников, шли рабочие, в прозодежде и башмаках на деревянных подошвах, — чтобы всем стать еще с улицы в Доме Советов в очереди за хлебом, за колбасой и махоркой, и на поверку мандатной комиссии — —

— — Весь подъезд и фойэ в Доме Советов в огромных рабочих из «Росты» художника Полунина. В исполкоме, в финотделе, в эко, в земотделе, в комнатах 7, 13, 15, 3 — жарче, чем когда через штаб товарища Черепа проходят тысячи «рода оружия, основания статьи, подписи руки» до писцовой судороги от пота портянок и тысяч. И в полуподвале — женотдел, где аберрируют и не аберрируют, где в штанах и юбках, анкетируются, культурно-просветительствуют, командируются, просыпаясь. На двери в зал заседания висит изречение из послания апостола Павла:

«Кто не работает — тот не ест!»

— Товарищи! кто получил колбасу... Съезд сейчас открывается! кто получил колбасу...

— Погоди, поспешь. Чай, не пожарна команда.

— Одно дело, надо подкрепиться. Бывалыча, как в старину-то, завертки на оглоблях у саней руками отогревали, а теперича!! —

— Э-эх, касатка, мало ты колбасы даешь, сё-таки!..

— «Э-это буудет последний и решительный боой!..» В оркестре самое главное — барабан. — Шшшш — шелестят лапти. Мандатная комиссия. Этак почавкивая, открывают съезд советов — доедают колбасу. «Кто не работает, тот не ест». И махорка! этак колечками, идет под люстру. Где некогда в Государственном Банке стоял Александр II,

сейчас стоит Ленин — в Москве, на Кремлевской площади, в кепке. В зале собраний не разбелилась еще вчерашняя махорка, и хотя и не видно его, все же лежит где-то, скребется и дышит старый огромный, в чесотке, ирландский дог. — Доклад о международном положении. Товарищу Ордыниной перекинуться через кафедру, руку закинуть, и: —

— Интернационал! Антанта! Всемирный капитализм! Всемирная революция! Кулак малых государств. Малая Антанта. Белые, зеленые, красные: красная армия, зеленые банды и белая сволочь! — В экспрессе дней высот Памира без дней сошествия — не со креста, а с Памира, не Христа, а нас!..

— А ничего бабочка. Красивенькая.

— У-у, люта.

— А маловато колбасы дали, сё-таки..

— Слышь, Мерзеев, а у нас в Чанках волки мерина задрали у Павлюкова.

— Нну?!.

«Это есть наш последний и решительный бой!..» И товарищу Ордыниной сходить: не с Памира, а с кафедры.

— Товаришши! Потому как я беднейший крестьянин стою на трех уездах, в трех уездах моего петуха слыхать, потому я хочу высказаться на ризалюцию. У нас, товаришши, не социлизм, а скотолизация. Вон в том углу сидит господин товарищ Буфеев, а он из нашего совхоза, заморил трех народных коров и буржак! А лизарюцию мы примаем. Правильно. Буржуев нам не надоть. А што касается камун, то тоже не надоть!..

— Ооо! Ааа! Ууу!..

Звонок из президиума:

— Хорошо, товарищ, будет принято к сведению!

И за резолюцией по докладу товарища Ордыниной выступает, вне очереди, — перс, что случайно закинут сюда, член ЦК ИрКП, не по-восточному радостный и по-восточному наивный. Он говорит по-английски:

— ... ???...?? — — —

Мужики слушают косо, иные развязали свои узелочки, чтобы поесть пока непонятно.

Затем был доклад исполкома:

— Товарищи! вы единственные хозяева революции, съезда и уезда!

Затем был обед: кто не работает, тот не ест!

Затем был доклад земотдела. И заканчивая доклад (из лесов, из полей, от деревень и сел приехали делегаты!), докладчик сказал:

— А в заключение я должен сказать, товарищи, про волков и о мерах, принятых в борьбе с этим бичом рабоче-крестьянской разрухи!.. Пока в земотделе зарегистрировано семь стай в количестве сорока пяти волков. Мобилизуются все охотники уезда, и вас, товарищи, мы просим всемерно помогать на местах!..

— Ооо! Ааа! Ууу!..

На развалинах, из рассветов, от лучин — от волков — приехали делегаты, в зипунах, в тулупах, в лаптях. — Дог заворочался в зале.

— Воо! Ааа! Ууу!..

— Конечно, товарищи-и! Мы победим и эту разруху!.. —

— Арише Рытовой —

— ах, как громко смеется она, девка в двадцать семь, — не потому ли, что даже весело ей вывозить на себе и папашу, как бочка, и мамашу, как щепка, и каменный дом с мостовой на дворе, — ей, пополневшей

даже, много раз стриженой всюду, в бане подпрятавшей сало свиное лукаво — ?!

Папаша же Рытов, —

— папаша же Рытов вдруг скрылся, как кот Карла Карловича, в каких-то бу ьянах: стало быть, барометр упал к непогоде. (... С холмов видны лишь пирамиды каменноугольной пыли — кресты окаменевших переулков в каменных домах поселка городского...)

(Но барометр упал не потому, что идет съезд советов (съезд советов только, чтоб сказать о волках), а потому, что внизу поперли банды белых).

В каменном доме Ксении Ордыниной, из которого выгнаны всяческие Ариши Рытовы и мимо которого ходят двумя ногами на четвереньках, избывать Ксении Ордыниной ноябрьскую ночь. Ксения одна избывала часы. И дом, и город, и ночь, и тишина — избывали папашу Рытова. Ксения одна избывала часы до товарища Черепа, от губ которого пробегали судороги по спине, и наяву шли сны — о снах.

— Вот эти сны. Как их передать...

— Каждый шорох судорогой пробегал по спине, немотствовал дом в ноябрьской ночи.

Но этой ночью не было никакого собачьего наваждения, телефон же прозвучал резко:

— Товарищ Ордынина. Вас просят в чека.

— Что?

— Идут допросы. Перебежчики.

— Это — за сутки до съезда.

Ночь. Шипят сосны.

Еще с синих сумерек поднялась слезливая луна, шла над снегами колкая поземка. Идут над землею мглистые облака, луна за ними мутна и поспешна. Перед ночью на суходоле, там, где всегда собирается стая, выли волки, звали вожака...

Вожак же лежит в буреломе — весь день и всю ночь. Шипят сосны, и кругом молодые елочки, уже переставшие хмуриться. Много лет назад прошла здесь необычайная гроза, свалившая борозду сосен. И здесь волчиха приносила детенышей, которых надо было кормить. Волк жил, чтобы рыскать, есть и родить, как живет каждый волк. — Не было едова, были вьюги, волки садились в круг, лязгали зубами и выли в ночи, тоскливо и долго, вытягивая нерв за нервом.

Шипят сосны, и волки — воют, воют, воют, призывая вожака.

Вожак же лежит в буреломе.

Три ночи тому назад, за оврагом, у тропы к водопою у молодых елочек, заваленных снегом, волки в черной ночной мути, шаря по полям, нашли дохлую овцу. Долго сидели вокруг нее волки, воя тоскливо, труся придвинуться ближе и пощелкивая голодно зубами, слезясь жесткими глазками. А потом, когда бросилась стая с визгом и воем на дохлую овцу, с поджатыми хвостами и — точно под палкой собака — с изогнутыми костлявыми спинами, — в серой ночной мути, — не заметила стая, как попала в капкан — самка вожака! чтобы метаться на ляз-

гающей цепи и выть до рассвета, — и утром пришел Володька, вскинул самку на лыжи и увез в залу к скотине.

Шипят сосны. Ветер дует колкой поземкой. Вожак понуро поднимается с вылежанного места, тоскливо тянется, сначала передними ногами, затем задними, и лижет запекшимся своим языком снег. Вожак идет на лысый верх суходола из деревьев, слушает, нюхает. Ветер здесь много крепче, скрипят деревья, из черного поля несет пустотой и холодом. Вожак воет протяжно. Ему никто не отвечает. Тогда он стелет полями, к водопою, к тому месту, где погибла жена. Страшно было повстречать его в ту пору в пустых полях, и ветер дует, как злой старичишко в колкой поземке.

— И далеко в пустых полях вспыхивает красный глаз поезда.

В международном вагоне, в спокойствии Пульмана, где не жаль желчи желтухи и карт Великой Европейской Российской Равнины издания 15 декабря 1825 года, в ночь — в ночи, перед последней остановкой у города, у окна в коридоре, стояли двое, сложив уже свои чемоданы, и говорили в тишине Пульмана по-английски, — перс, член ЦК ИрКП, и инженер из Голутвина.

— Когда из-за рубежей смотришь на Россию, — это грандиозная картина, я не нахожу слов. Нищая, раздетая, голодная — прекрасная женщина Россия стала против всего мира и за весь мир. И всему земному шару, кинутому вселенной в котлы революций, несет ослепительную правду, против которой нет честного, имеющего силу поднять руку и слово. Я был в Англии, в Индии, в Персии, — весь мир дрожит, сотрясаемый теми волнами,

что широким простором идут в России. Вы чувствуете какую ослепительную, какую грандиозную, — я не нахожу слов, — какую невероятную правду несет великая Россия, прекрасная мать народов... Величайшая стихия, которая мучится прекрасными родами. Где-то в джунглях, в одиночестве, я чувствовал, как на северо-запад грандиозная гроза вулканов озонирует мир, — и даже джунгли дышат этим озоном. Моря и вулканы — переместились...

В тишине Пульмана, в вагоне как буржуа, в полумраке коридора, пахнущего сулемой, перс, разветривший уже восточные свои запахи, вскинул руками и вскрикнул непонятное, странное, на родном своем языке.

— Да, через сто, полтораста лет люди будут тосковать о теперешней России, как о днях прекраснейшего проявления человеческого духа, — сказал раздумчиво инженер.— А у меня вот башмак прорвался, и хочется посидеть в ресторане, выпить, виски.

— Да-да! Невероятная, ослепительная поэма!

...— как в поезде, в теплушке, за суматохой рук, ног, слов, мешочников, вшей, остановок, уклонов, подъемов, — не заметен путь в две тысячи верст, отсвистевший, отмелькавший ночами, восходами, станциями, и видны лишь эти подъемы, восходы, уклоны, вши и мешки в матершине, —

— так — не примется путь в десяток тысяч дней, времени, отсвистевшего от николаевских трефленок будок

— до вулканов Памира.

Поезду же, если не свернуть круто влево и сползти вниз под город еще на сто верст, то упрется он в землю белых, где — — —

Иван Альфонсович Морж, никаких кругов не делавший по революции, пришел к Дмитрию Гавриловичу Тропарову, сел на диван в комнате, там, где все стены в полках книг, курил, сыпля пепел себе на жилет и живот (и папироска торчала в усах, как клык), распространял странные запахи пота, валерьянки и водки, — и разговаривал: о девочках, — очень невнятно, осложняя свой диалект — ну-с, вот-с — вот-с, ну-с — и вообще сопением. Из голенища доставал Иван Альфонсович Морж бутыль с самогоном, а уходя из другого голенища оставил — пачку белогвардейских газет: «Время» Бориса Суворина и «Россию» Шульгина и Иозеффи, каждая газетина по тысяче рублей, по старой орфографии.

Дмитрий Гаврилович крикнул по комнатам:

— Володька!.. Задал скотине?! — свари картошку.

И, в шубе, в валенках, в ночном колпаке, лег на диван, — читать газеты.

КАЗНЬ ПАЛАЧА МАЙОРОВА

Вчера, за Херсонскими воротами, был приведен в исполнение смертный приговор над мещанином Майоровым — палачем Н—ой Чрезвычайки. Военно-полевой суд приговорил мещанина Майорова к смертной казни через повешение. Казнь совершена была публично, при большом стечении воинских чинов и населения.

СОВЕТСКИЙ АГНЕЦ

Я решил во что бы то ни стало сделать г. Фрида знаменитостью. Это мой каприз — сделать еврейчика знаменитым.

Беру г. музыканта, поднимаю на кончик пера, и уж г. Фрид не жалкий музыкант, а личность, не менее прославленная, чем... ну, хотя бы взлетевший вчера в качелях товарищ Майоров...

Г. Губернатор принимает ежедневно кроме праздников, в собственном доме, от 11-ти до 1 часу дня.

Начальник Штаба 1-го Армейского Корпуса генерал-майор Доставлев принимает частных лиц и гг. офицеров от 6-ти до 8-ми часов вечера в Дворянском Собрании. Там же принимает генерал-лейтенант Кутепов — гг. офицеров, врачей, чиновников и нижних чинов, чему идут часы.

ПРИКАЗ. Я бью на фронте красную сволочь. Белая сволочь, развяжите свои чемоданы. — Генерал от инфантерии Свищев.

Победа ген. УЛАГАЯ.
Беседа с ген. Мамонтовым.
Сообщение генерала Доставлева.

Ген. ДЕЕВ о снабжении ДОБР-АРМИИ.
Ген.-лейт. РАГОДИН.
«Венерические болезни и война» — статья проф. Пехова.
Проституция на фронте.

ПОД ГНЕТОМ СТРАСТИ — кино-драма с участием лучших артистов. Оперетта ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ.

БЕГА И СКАЧКИ

Тотализатор. Наши фавориты: 1) Каприфолий-Лу, 2) Гимн, 3) Конюшня барона Врангеля.

КРЫМ: Продаются дачные участки.

ПРОДАЕТСЯ дешево бумаго-ткацкая фабрика Сучкова, местонахождение фабрики в Богородском уезде, Московской губернии.

ДЕВУШКА, любящая детей, согласна в отъезд.

За 2 500 000 руб. продается книга НИЛУСА.

Завтра в кафедральном соборе будет отслужен благодарственный молебен свящ. Восторговым. Желательно присутствие гг. офицеров.

Грандиозное молебствие в Севастополе. Религиозный подъем среди нижних чинов.

Воззвание архиепископа Кронида. Проповедь иеромон. Сергия в ближнем тылу.
ВАТИКАН и большевики.

ЖИДЫ в Ростове на Дону. Латыши в Первопрестольной.
Ген. ТРУТНЕВЫМ разбит полк МОРДВЫ.

Парижская Comedie française в скором времени даст спектакль, посвященный Ля-Фонтену. После этого пойдет пьеса a Coipe Encantee. Парижская кинодрама готовит картину, в которой главным действующим лицом является покойная императрица Евгения.

— Мы поможем вам, КАЗАКИ, всем, чем можем. Мы знаем, что свободные КАЗАКИ борются с ярмом антихриста, сидящего в Кремле Москвы и пытающегося поработить СВЯТУЮ РУСЬ террором китайских палачей.—

Начальник Великобританской Миссии ген.-майор НОКС.

Разврат среди молодежи. Нижние чины по деревням. Охрана Петрограда поручена КИТАЙЦАМ. Декреты Жиднаркомии. Ген. Свищев издал приказ о расстреле латышей.

ВРАГИ ДОБР-АРМИИ. Бор. Суворин насчитывает следующих врагов Добр-армии: Совдепщина, Петлюровщина, Махновщина, Германия, Румыния, Турция, Латвия, Украина, Бессарабия, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербейджан, Алхалхаанский округ, Казань, Башкирия, Семиречье. Все это, конечно,— работа Германии и торговля Троцко-Бронштейна.

Г. Г. КАЦ (Центральная ул., соб. дом).

РЕНСКОВОЙ ПОГРЕБ, с продажей виноградных вин и крепких напитков. С почтением Г. Г. КАЦ.

— Папка! Готова картошка!

— А? Готова? Ну, очисть и тащи, брат, сюда! Какая же это, братец, в сущности, мерзость!

— Что, картошка?

— Нет, газеты!

Если же поезду не свернуть круто влево и сползти вниз под город еще на сто верст, то упрется он в земли, где даже в бой идут офицеры с чемоданами, а добровольцы (есть и такие в Добр-армии) идут в атаку: в цилиндрах и в трех енотовых — одна на другую — шубах, расползшихся в мышках.

— «Я бью на фронтах красную сволочь. Белая сволочь, развяжите свои чемоданы». — Генерал же Свищев получил титул и стал: Свищев-Крымский. Белая сволочь поперла наверх.

— И здесь в городе «Воля Коммуниста» на желтой бумаге, как Ортечека, кричит сплошным митингом, красным, как кровь.

Красное, как кровь! — Мои мысли о крови —

— (этой кровью буйной, красной и черной, кровью — пишу я, ею же убить могу, ею же могу пойти на огонь).

— Вот письмо Тропарова к Ордыниной.

«Уважаемый товарищ,
Мне очень хотелось бы поговорить с Вами по ряду вопросов, конечно, о революции. Если это не утруднит Вас, будьте добры назначить час, когда я мог бы Вас увидать. Дмитрий Тропаров».

— Володька! Отнесешь в город!

Метелит метелями декабрьская ночь. В каменном доме Ксении Ордыниной, в кабинете перед камином кресла, и огонь в камине, и нет ламп, чтоб шарили тени. — И ужели часы на руке, под черным глухим рукавом, не разорвутся как сердце, — в десять. Чайник же и керо-

синка — перекипят трижды, на столике рядом, синим огнем в бурых тенях — синими искрами в корках Брокгауза. А там, на полке за Брокгаузом — на тарелке и под салфеткой — пирожки с вишневым вареньем: ради них канули утро и баночка вишневого варенья по купону карточки ответственного работника № 13. И Ксения Ордынина у камина — в черном платье, как дама, с белым платком у губ, с глазами, как перья павлиньи, —и черная бровь изогнутая, изломанная правая, — поднята высоко на высокий, белый, бледный лоб, — черная дама у камина — совсем не заанкеченная, не закомандированная, не замитингованная. А чайник — а чайник должен, должно быть, перекипеть трижды, ибо никогда раньше он не был изучен. — А. Тропаров — в изученную дверь — вошел двумя головами выше, чем Череп.

Ни часы, ни сердце не разорвались.

— ...Я кипятила себе чаю. Вот лепешки. Подложите полено в печку...

— ...Я думала, Карл Маркс сделал ошибку. Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви, любви как кровь, во имя деторождения, должно быть. Пол, семья, род, — человечество не ошибалось, обоготворяя пол. — Ну, да, — голод физический и голод половой. Это очень неточно: следует говорить, — голод физический и религия пола, религия крови...

— ...Берите лепешки...

— ...Я иногда до боли, физически, реально, начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, — пронизаны полом, — нет, не точно, пронизаны — — — —, даже народ, нация, государство, человечество, вот носовой платок, хлеб, ремень. Я не одна. У меня иногда кружится голова, и я чувствую, что вся революция, — вся революция — —

— ...Возьмите лепешек...

Почему не разорвались ни часы, ни сердце? — когда все тело разорвано, раздвоено. — Вот кровь, горячая, красная, — каждая кровинка от руки с платком у губ, от изломанной брови чистейшая идет, — креститься страстной неделей. А лепешки — на столе, на салфетке и под салфеткой, на маленьком столике.

— ...Я вглядываюсь в культуру Запада и культуру Востока. Культура многоженного Востока — разве не бархаты и атласы, когда человек — после акта — откинулся на диван из пестрых ковров и на плечо женщины и смотрит в звезды, — все, — только светила в атласах небесной тверди, все познано, и весь мир — во влаге, в усталости обессилевших — — — — — —? И культура Запада, стальная, цементная, обнаженная, — разве не человек с напряженными мышцами, как сталь, и с напряженною волей, — тот, что сегодня — через час — добьется женщины, а сейчас — в этот час — надо ставить небоскребы, строить дредноуты и дирижабли, и подпирать шею костяным воротником, чтобы в одноженной стране ему, сильнейшему и первому, взять первую женщину. — ...Революция, быт революции, — я вижу, как огромной волной... —

— но тогда зазвонил резко телефонный звонок.

— Товарищ Ордынина. Вас просят в чека.

— Что?

— Открыт заговор.

— Ксения Евграфовна, я хотел спросить... Не вы ли писали мне письма без подписи? — это Тропаров, протягивая руку.

И Ксения ответила — не сразу, тихо, затомившись:

— Да, я... Да, я писала вам, Дмитрий Гаврилович... И для вас я спекла сегодня пирожки... с вареньем...

Через штаб товарища Черепа шли тысячи на фронт (изодранных людей) и тысячи с фронта (очень цынготных и очень упитанных людей), — штаб товарища Черепа изнывал от тысяч и пота портянок, и от того, что правая рука каждого впадала в писцовую истерику, вписывая в пустые места листков и бланков:

«Имя, отчество, фамилия, — род оружия, — из граждан, — на основании статьи, — подпись руки».

Но ведь сказано классикам, что в России вещь, кроме прямого своего назначения, имеет второе: —

— быть украденной,

— и вдруг в смерче, спутались, стасовались карточки и бланки: род оружия влез в подпись руки, имя село на фамилию, основание статьи стало гражданином, — очень цынготных откинуло бумажным смерчем вновь на фронт — очень упитанные позанастряли в доме Аришенек Рытовых, — а на товарища Черепа! — на товарища Черепа пестрым бумажным смерчем — посыпались тысячи денег, — ибо —

— за десять минут до того, как пришли арестовать товарища Черепа, он, распоясанный, с Моржом и водкой, полетевший по воле всех чертей лощинных дел, — говорил углубленно, — продолжая в сущности мысль Ксении Ордыниной:

— Революция, брат... Я хоть пьян, а я понимаю... Меня, может, под суд отдадут, а знаешь, — а знаешь, кто все подстроил? — Ксюшка Ордынина!.. Революция, брат, — меня завтра на фронт пошлют или расстреляют, или Врангель повесит, — так что же — кроме бабы? — Все равно, как подыхать. Зараженным или здоровым...

А... а если я жив останусь, то тогда — то тогда мне сам сифилис нипочем... Я хоть пьян, а я... понимаю... А Ксюшка Ордынина, знаешь, — —

В дверь постучали, побоцали, вошли.

— Гражданин Череп. Именем Российской социалистической советской республики вы арестованы. —

И на ордере подпись: — Ордынина.

— Вот письмо Ксении Ордыниной — Тропарову:

«Я думала... Тех мужчин, которые раньше сходились с женщинами, но женившись, мучатся, если жена не девушка, я оправдываю и понимаю. Вот почему. Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдавшись впервые, несет и душу и тело. —

«Всю душу и все тело отдает она другому мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине! стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится как вор и моется. И только к жене он идет и с душой и с телом, и, так чаще бывает, с жаждой создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если он узнает, что всю душу, всю святость она отдала уже другому, — не могла не отдать, отдаваясь...

«Я не попала в число этих девяносто девяти...

«Он был вчера у меня, и я думала, что у меня разорвется сердце. Это еще с института, когда глупая девчонка полюбила необыкновенные рассказы. Я не знаю, почему не разорвалось сердце. Какая грандиозная, какая прекрасная вещь — любовь в мире, — какая невероятная, как революция.

«Жил-был один человек, но он не любил и не писал стихов. Он был безмерно красив, и от губ его нельзя было оторваться. И он приходил к женщине и делал с ней все,

что хотел, все что хотел, как с рабыней, потому что женщина была опустошена грандиозной мечтой. Но эта женщина не попала в число девяносто девяти. И вот настал миг, когда к женщине приблизилась грандиозная любовь, — ибо к ней приходил другой, избранный навсегда...

«Кто знал это — тот никогда не вернется, если же вернется — погибнет. Аминь.

«А вот что для вас. Жила-была одна девушка. Она полюбила и пронесла любовь через всю жизнь, а у нее была несчастная жизнь. И она написала стихи. Для себя, для одной себя, и для того, которого любила. И в конце она приписала: «Вот я не сплю эту ночь, а Вы не идете. А я не могу нести этой любви, и она задавила меня, меня, чистую, наивную, ждущую, — рабыню! Но у меня устала рука. Аминь». —

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

У писателя должна быть толстейшая записная книжка, — но кот Карла Карловича, должно быть, размножился на все бурьяны Российской Федерации. —

Володька утром в шубе на белье читал Брэма, утверждая Суходол. Затем Володька колол для железки чурки и распаривал в кастрюле на обед себе и отцу сушеных лягушек. Дмитрий Гаврилович в шубе на белье еще не вставал с постели, закусывая яблоком папиросу и с Пыляевым в руках, дожидаясь, пока нагреется железка. Таз с водой Володька притащил еще с утра, еще с утра Володька опростал ночной горшок и вновь поставил его под диван, — а день был желтый, в солнце, с радугой на стеклах в веерах мороза, с воздухом, как воск, и с восковыми от лучей пластами солнца на сукне стола, на книгах с корками из кожи.

Тогда принесли письмо —

— И вдруг, —

— как звук бича и бьющее бичом, как примитив, чтобы разрушить Суходол, или утвердить на дыбе, как памятник Петра, — чтобы прозвонить с колоколен котом Карла Карловича, — — забыв железку, таз

с водой, ночной горшок, — заходил обхлестнутый бичом пастушьим, — по всем комнатам— не запахнувшись, — писатель Дмитрий Тропаров.

— Владимир! Дверь запри!

И путь — из кухни в кабинет, из кабинета — в зал к скотине, из зала — снова в кабинет.

— Владимир! Если меня спросят — нет дома. И дверь запри.

И в комнате — полстолетия дверь не затворялась, другая же в гостиную — забита лет пятнадцать. Диван отставлен — дверь закрыта.

— Владимир! Где ключи от двери? А эту дверь — в гостиную — сейчас же отвори.

— Да что ты, папка? Что с тобой?

И путь — из кухни в кабинет, из кабинета — в зал к скотине, из зала — снова в кабинет.

— Владимир! Ты меня не раздражай. И дети чтобы были дома. Принеси топор. И матери не говори.

— Да что с тобой, папка?

— Владимир, я расстроен!

Четверть часа, — точно комната, как банка с кислородом, и надо удвоить, утроить поспешность движений.

— Владимир, дай лопату и ящик разыщи. А сам заложишь лошадь и поедешь в город, — попросишь, чтобы приехал к нам Иван Альфонсович. Но так, чтобы никто не видел.

Четверть часа, — как лента кинематографа, когда демонстратор спешит.

— Владимир. Я тебе сказал, чтоб ты сейчас же ехал.

В подвале разворочать каменную стену, за кирпичами вырыть яму (в седьмом поту, без шубы, со свечой)

и в яму закопать: —

— Тоолстей-шие записные книжки!

(— Ибо бурьянами бывают и каменные стены, а кошками — блокноты.)

Морж приехал в мокассинах. Из клыка папиросы посыпался пепел на живот и жилет: ну-с — вот-с, вот-с — ну-с. Все двери прикрылись таинственно. Кастрюля с лягушками высохла.

— Ты что?

— Вот прочтите, Иван Альфонсович! — это писатель.

— Ну-с... — это Морж. — Любовника ее расстреляли, ну-с... Я у него в гостях был, когда арестовывали. Насилу отпустили.

И глаза у писателя вылезли из орбит: так тяжело (в удивлении сплошного нарочно), что надо было упереть руки в бока, чтоб сохранить равновесие — глаз: в их удивлении, вопросе, в возмущении (нарочных) и в подлинном страхе.

Морж вставил в усы второй клык папиросы, чтоб сэкономить огонь. И вынул круглые очки из очешницы, оседлал ими нос, — чтобы быть оседланным к чтению, — а за стеклами сквозь лупу по кошачьим глазам побежали красные жилки мирового склероза. Комната же была банкой кислорода только для писателя, ибо теперь по суходольным делам сменил его Морж, в моржевой неспешности.

— Вот прочтите, Иван Альфонсович.

Морж начал читать: с серьезностью, а потом — с удовольствием, вынув клыки изо рта, — а потом вдруг почуял запахи валерьянок и начал чесать под усами (прижмурив глаза) всей пятерней и снова вставил клык: в поспешности.

И сказал:

— Уезжать надо. Скрыться.

— Но куда же, — куда?!

— К белым. И попутчик тут есть — инженер из Москвы. Везет золота фунт. Я маршрут приготовил, нынче к ночи и ехать...

А день желтый, в солнце, с радугой на стеклах в веерах мороза, с воздухом, как воск, и с восковыми от лучей пластами солнца на сукне стола, на книгах с корками из кожи.

— А ты выпей, — самогон очень отличный, ну-с...

— Там вон есть вареные лягушки...

— Не употребляю.

— Я расстроен, Иван Альфонсович... Я постарел на двадцать лет...

(— бурьянами бывают, стало быть, не только каменные стены, а и белоземли!).

Ночь. Шипят сосны.

Немного ночей, но на том месте, где были капканы, ничто уже не говорит о смерти — уже развеяны запахи самки, развороченный снег заметает поземка. Луна идет вниз и краснеет мутно, пляшет в поспешных облаках, поземка. Волк глядит на луну и воет тоскливо и глухо, лунный свет отражается в гнойных слезинках. Волк опускает голову и молчит. И глаза горят зелеными огоньками. — Здесь, — в лесу, по суходолу, в оврагах, — тринадцать лет жил волк. Теперь его самка лежит в зале усадьбы. — А вдалеке воет стая, голодно и злобно, призывая, призывая вожака, — но теперь уже, чтобы убить его, ибо по звериному закону: отступившему от равенства и от закона — смерть. В полях темно и холодно, поземка колет остро, наст цапает ноги. — Весь день волк лежал в буреломе, и был солнечный день. На каряги навалилась сгнившая листва, пошел уже мох. Волк долго

лежал, положив голову на лапы и сумрачно глядя перед собой тусклыми своими глазами, лежал неподвижно, в усталости, тосковании и сумраке. А день был солнечный. Волк иногда скулил, и был тогда беспомощен, никак не свирепым, и, точно щенок, махал хвостом, ссыпая с елки снег. — В пустых полях темно и холодно, поземка колет остро, наст цапает ноги, — и волк воет громко, свирепо ощетинясь, садится на лапы, визжит, катается в снегу. — В ту ночь долго и много крупной побежкой стлал волк, мечась и воя, по полям и суходолам, — с тем, чтобы умереть наутро.

«— Даже если б мы умерли!»

«— Что такое сегодня в лесу? — они уснули сегодня, деревья. Разве не эти взметали пыль у своих корней и бросали свои ветви на землю, и не они ли исступленно рыдали и пели, кидая вершинами победные вести? — сухие листья запутались в можжевельнике, и он равнодушно и мертво, и лениво обвис, задумчивый, зеленый. Березки скромно распустили коротенькие платьица. Длинные сквозные полосы длиннее тянутся вдоль утихших елей. Крохотные сосенки высовывают колючие головки. Мирно тянутся заячьи дорожки, хлопотливо проложенные по белым пригоркам и в непроходимом ельнике. Вверху едва слышен замирающий гомон — где-то вверху освещенных солнцем вершин; неподвижны кусты внизу, спокойны солнечные блики. Белка прыгает с сосны и бежит к другой сосне, оставляя на белом пушистом снегу узенькие изящные следы. Мои шаги звучат так резко и странно. Никто ни о чем не знает здесь и ничего не помнит. Это — я, я».

Ночь. Шипят сосны. На суходоле, в зале лает собака. По проселку к усадьбе идет женщина: на поляне у опушки дом, как гроб, смотрит в ночь тремя освещенными окнами. Женщина долго стоит у окна. — «Мне не надо в Дарищи».

Женщина идет дальше — к Дарищам. Женщина не заметила, как мимо нее, около проселка прокрался волк и побежал вперед, но когда она подходила к селу, на дороге она увидела волка. Волк сидел посреди проселка, на задних лапах и гнусными своими, слезящимися глазами, горящими зеленым огоньком, вглядывался в человека. Женщина свистнула и замахнулась рукой, — на момент померкли и вновь вспыхнули глаза волка. Женщина зажгла спички и сделала несколько шагов вперед. Волк не двинулся. Тогда женщина остановилась и внимательно осмотрелась кругом. Женщина сжала ком снега и бросила его — заискивающе — в волка, — волк лязгнул челюстями и тоскливо провыл, в позевоте. Женщина постояла неподвижно, потом повернула обратно. Сначала она шла медленно, потом начала бежать — и все быстрее и быстрее. В мертвых полях, под мертвой луной вдруг закричал, завыл, завизжал бессмысленно и дико — человек. Человек бежал невероятно быстро, шапка его упала, рассыпались волосы, отбрасываемые ветром назад. И тогда на него — на нее — на женщину — налетел сзади волк и ударил, очень коротко, по шее.

И теперь воет — одиноко и свирепо — волк. Ночь. Шипят сосны. Но, отступившим от волчьего правила, по волчьему закону — смерть. Волк жил, чтобы есть и родить, у волка умерла самка. Там, где собирается стая, тесным кольцом с ощетиненной шерстью и с ощеренными зубами на снегу сидят волки и воют, воют, воют, лязгая зубами, призывая вожака, который семь лет тому назад убил прежнего вожака, чтобы стать на его место, — воют,

воют, воют, вытягивая нерв за нервом, чтоб призвать вожака и убить его, семь лет тому назад отступившего от равенства. Ночь идет медленно, на западе очень красная и большая садится луна, снега — черны. И на стаю понуро стелет волк. Это — смерть.

И еще. — Молодой вожак, убивший старика, у которого ничего не оставалось, — декабрьскими волчьими свадьбами, — повел свою самку —в бурелом, где было логово старого вожака.

КОНЕЦ

Не сказано, — но по всей этой повести ползают поезда,—
— паршивые, вшивые, бессонные, в мешках матершины, в подъемах, уклонах, —
— чтобы не
заметить пути в десятки тысяч дней — до Памира. И это — Россия, поэзия дней как Ксения, как тридцать два процента всех русских Иванов. Моря и плоскогория переместились. Ибо в России прекрасные муки рождения. Ибо половодьями — мутна вода — от наземов.

И еще один поезд сполз к городу. В толкучке мешков и шинелей (— «куда прешь, сучий нос?..»). И на перрон степенно ступил господин с чемоданчиком, в шляпе, в крылатке на вате, и, под крылаткой, в сюртуке и в клетчатом жилете, — букинист Кузьма Егорович. Ямщику он сказал:

— В имение писателя Дмитрия Гавриловича Тропарова. Верный был сочинитель! — и сел не торгуясь.

А к вечеру Кузьма Егорович сидел уже не в санках, а с Иваном Альфонсовичем Моржом, пили коньяк, толковали о девочках, обсуждали Аришу Рытову и вопросы

о ящиках, о шпагате, о том, как дать взятку начальнику станции, — чтобы вывезти книги и рукописи — писателя — верного сочинителя — Тропарова, Дм.

Этой главы название:

СМЕРТИ.

И повести название:

ЧЕРТОПОЛОХ.

Коломна.
Никола-на-Посадьях.
Февраль — март 1921 г.

МАТЬ-МАЧЕХА

Эту мою повесть, отнюдь не реалистическую,

я посвящаю

АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ РЕМИЗОВУ,

мастеру,

у которого я был подмастерьем.

Бор. Пильняк.

Впервые повесть появилась под заглавием «Третья столица».

1.

ОТКРЫТА
Уездным отделом наробраза
вполне оборудованная
— БАНЯ —
(бывш. Духовное училище в саду)
для общественного пользования с пропускной способностью на 500 чел. в 8-ми час. рабочий день.

Расписание бань:

Понедельник — детские дома города (бесплатно).

Вторник, пятница, суббота — мужские бани.

Среда, четверг — женские бани.

Плата за мытье:

для взрослых — 50 коп. зол.
для детей — 25 коп. зол.

УОТНАРОБРАЗ.

Сроки: Великий пост восьмого года Мировой Войны и гибели Европейской культуры (по Шпенглеру) — и шестой великий пост — Великой Русской Революции, — или иначе: март, весна, ледолом, — когда Великая Россия великой революцией метнула по принципу метания батавских слезок, — Эстией, Латвией, Литвой, Польшей,

монархией, Черновым, Мартовым, Дарданеллами, — русской культурой, — русскими метелями, —

— и когда —

—Европа—

была:

— сплошным эрзацем —

— (Ersatz — немецкое слово, значит наречие — в м е с т о) —

М е с т о: места действия нет. Россия, Европа, мир, братство.

Г е р о и: героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверье, — культура, метели, грозы, образ богоматери. Люди, — мужчины в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно; — женщины: — но женщины моя скорбь, — мне романтику —

— единственное, прекраснейшее, величайшая радость.

В России — в великий пост — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут, после дневной ростепели, ручьи под ногами! — как в марте днем в суходолах, в разбухшем суглинке, — как в июне в росные рассветы, в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки), — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой, — так же тесно, как сердце в руке, — что мир,

земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как сумерки великопостным звоном, как березовая горечь в июне) — одно: жизнь, чистота, молодость, нежность, хрупкая, как великопостные льдинки под ногою. Это мне — женщина. Но есть и другое. — В старину в России такие выпадали помещичьи декабрьские ночи. Знаемо было, что кругом ходят волки. И в сумерках в диванной топили камин, чтоб не быть здесь никакому иному огню, — и луна поднималась к полночи, а здесь, у камина, Иннокентием Анненским утверждался Лермонтов, в той французской пословице, где говорится, что самое вкусное яблоко — с пятнышком, — чтоб им двоим, ему и ей, томиться в холодке гостиной и в тепле камина, пока не поднялась луна. А там на морозе безмолвствует пустынная, суходольная, помещичья ночь, и кучер в синих алмазах, утверждающих безмолвие, стоит на луне у крыльца, как леший, лошадь бьет копытами: кучера не надо, — рысак сыплет комьями снега, все быстрее, все холоднее проселок, и луна уже сигает торопливо по верхушкам сосен. Тишина. Мороз. В передке, совсем избитом снежными глышками, стынет фляжка с коньяком. И когда он идет по вожже к уздцам рысака, не желающего стоять, дымящего паром, — они стоят на снежной пустынной поляне, — в серебряный, позеленевший поставец, блеснувший на луне зеленым огоньком, она наливает неверными, холодными руками коньяк, холодный, как этот мороз, и жгучий, как коньяк: от него в холоде ноют зубы, и коньяк обжигает огнем коньяка, — а губы холодны,

неверны, очерствели в черствой тишине, в морозе. А на усадьбе в доме, в спальной, домовый пес-старик уже раскинул простыни и в маленькой столовой, у салфеток, вздохнул о Рождестве, о том, что женщин, как конфеты, можно выворачивать из платья. — И это, коньяк этих конфет, жгучий холодом и коньяком, — это: мне — — Ах, какая стена молчащая, глухая — женщина — и когда окончательно разобью я голову?!

2. Мужчины в пальто с поднятыми воротниками.

Емельян Емельянович Разин, русский кандидат филологических наук, секретарь уотнаробраза.

Пять лет русской революции, в России, он прожил в тесном городе, на тесной улице, в тесном доме, — каменном особняке о пяти комнатах. Этот дом простоял сто лет, холуйствовал без нужника столетье, и еще до революции у него полысела охра и покосились три несуразные колонки, подпирающие классицизм, фронтон и терраску в палисаде. Переулочек в акации и сиренях, —в воробьях, — был выложен кирпичными булыжинами, и переулочек упирался в церковь сорока святых великомучеников (в шестую весну русской революции, по-иному, по-новому в столетья — взглянули образа в этой церкви из-под серебряных риз, снятых для голодных, позеленевших и засаленных воском столетий). Вправо и влево от дома шли каменные заборы в охре. Против — тоже каменный,— стоял двухэтажный, низколобый, купеческий дом — домовина — в замках, в заборах, в строгости, — этот дом — тоже печка от революции: сначала из него повезли сундуки и барахло (и вместе с барахлом ушли купцы в сюр-

туках до щиколоток), над домом повиснул надолго красный флаг, на воротах висели по очереди вывески отделов— социального обеспечения, социальной культуры, дом гудел гулким гудом, шумел интернационалом коммунхоза, — чтоб предпоследним быть женотделу, последним— казармам караульной роты, — и чтоб дому остаться в собственной своей судьбе, выкинутым в ненадобность, чтоб смолкнуть кладбищенски дому: побуревший флаг уже не висел на крыше, остался лишь кол, дом раскорячился, лопнул, обалдел, посыпался щебнем, охра — и та помутнела, окна и двери, все деревянное в доме было сожжено для утепления, ворота ощерились сучьи, и даже крапива в засухе не буйничала, — дом долгое время таращился, как запаленная кляча. — В доме Емельяна Емельяновича в первую зиму, как во всем городе, на всех службах, задымили печи, и на другую зиму, как во всем городе, поползли по потолкам трубы железок, чтоб ползать им так две зимы, — чтоб смениться потом для дальнейшего мореплавания кирпичными прочными мазанками, — в снежной России, как в бесснежной Италии. Емельян Емельянович каждое утро, с десяти до четырех ходил на службу, и университетский его значок полысел от трудов и ненадобности. В оконной раме сынишка выбил стекло (этого сынишку вскоре отвезли — навек — на кладбище), — окно заткнули старым одеялом, и тряпка зимовала много зим, бельмом. В столовой на столе была белая клеенка, с новой зимой она пожелтела, потом она стала коричневой и не была, собственно, клеенкой, ибо дыр на ней было больше, чем целых мест, — и на ней всегда кисли в глиняных мисках капуста и картошка, — хлеб убирался, когда был, в шкаф. Вечерами горели моргасы, нечто вроде лампад, заливаемые фатанафтолем; от них комнаты казались подвалами, и черной ниткой в темноте шли верейки сажи, чтоб не только мужу, но и жене стать к утру уса-

тыми. Дом классической архитектуры, с кирпичными полами, был, в сущности, складным, ибо все кирпичи расшатались и, тщательно сохраняемые в положении первоначальном, посальнели от заботливых рук человеческих и от глины. — Все годы революции он, Емельян Емельянович Разин, провоевал с неведомыми во мраке некиими мельницами, пробыл у себя, нигде не был, — даже за городом, от трудов у него получалась картошка,— от юношеской ссылки к Белому морю остались пимы и малица, купленные у самоедов на память, — и на третий год революции он, Емельян Емельянович, надел их, чтоб ходить в уотнаробраз: к тому времени все уже переоделись так, чтоб не замерзнуть и чтоб, не моясь по годам, скрывать чернейшее белье — —

— — Открыта —
Уездным
отделом наробраза — вполне оборудованная —
— БАНЯ — —!

У него, Емельяна Емельяновича Разина, не случайно осталось ощущение, что эти пять лет в России — ему — были сплошной зимой, в моргасном полумраке, в каменном подвале, пыли и копоти, четыре года были сплошной моргасной, бесщельной, безметельной, аммиачной зимой. Он был филолог, окрест по селам исчезали усадьбы, ценности рушились, — и за Кремлем, на Верхнем базаре, рундуки, как клопов в каменном доме, нельзя было вывести: и в той комнате, где окно было заткнуто одеялом, где покоились грузно на кирпичах копоть и грязь и все же кирпичи были невероятнейших географических картах несуществующих материков, написанных сыростью, — все больше и больше скапливалось книг, памят-

ников императорской русской культуры, хранивших иной раз великолепные замшевые запахи барских рук. Книги, через книги — жизнь, чтоб подмигивать ему, сидя за ними ночами: конечно, он не замечал ватного одеяла в окне. У него выработалась привычка ходить с поднятым воротником — даже у пиджака, — потому что в России был постоянный сыпной тиф, и поднятый воротник — шанс, чтоб не заползла вошь, и еще затем, чтоб скрыть чернейшее белье. Жизнь была очень тесная: Емельян Емельянович не был горек своей жизнью, он был советским — так называлось в России — работником, он был фантаст, он создал — графически — формулу, чтоб доказать, что закон — для сохранения закона — надо обходить: он мелом рисовал круг на полу, замкнутый круг закона, и показывал опытно, что, если ходить по этой меловой черте, по закону, — подметки стирают мел, — и, чтоб цел остался мел, — закон, — надо его обходить. Впрочем, об этом потом. Емельян Емельянович был в сущности: —

— и Иваном Александровичем Каллистратычем, российским обывателем,
— и ротмистро-тензигольским Лоллием Кронидовым, российским интеллигентом.

Четыре года русской революции — Емельян Емельянович Разин — заполнил: —

— сплошной
моргасной,
бесщельной,
пещерной, —
— безметельной, —
— зимой, —

в пимах и малице. В пятый год — он: спутал числа и сроки, он увидел метель — метель над Россией, хотя видел весну, цветущие лимоны. Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком, — метельным январем, где-то в Ямбурге,

на границе РСФСР, — когда весь мир ощетинился злою собакою на большевистскую Россию, и отметывалась Россия от мира горящими поленьями, как у Мельникова-Печерского — золотоискатели — ночью в лесу — от волков, — его, Емельяна, выкинуло из пределов РСФСР: в ощетиненный мир, в фанерные границы батавских слезок Эстии, Литвы, Латвии, Польши, в спокойствие международных вагонов, неторопных станций, киркочных, ратушных, замочных городов. — Над Россией мели метели, заносили заносы, — в Германии небо было бледно, как немецкая романтика, и снег уже стаял, в Тироле надо было снять пальто, в Италии цвели лимоны.— В России мели метели и осталась малица, над Россией выли белые снега и черные ветры, снег крутился до неба, в небо выл, — здесь столики кафе давно были вынесены под каштаны, блестели солнце, море, асфальт, цилиндры, лаковые ботинки, белье, улыбки, повозки цветов на перекрестках. — В России мели метели и осталась малица. Неаполь — сверху, с гор, от пиний — гудел необыкновенной музыкой, единственной в мире, вечностью — в небо, в море, в Везувий. — В России мели метели, — и в марте, перед апрелем, — встретила вновь Россия — Емельяна — под Себежем, снегами, метелями, ветрами, снег колол гололедицей, последней, злой, перед Благовещением. Зубу, вырванному из челюсти, — не стать снова в челюсть. Емельян Емельянович Разин — все спутал, все съехало, — но метели — остались, — метели в тот час, когда расцветали лимоны! и метель не была зимою, ибо январь срезал зиму, снега, Россию, метель была всюду, — и метель спутала все! — казалось:

лимонную рощу заметают русские стервы метельные, в сугробах цветут анемоны; в Вене в малице — мчит самоед, в Неаполе сел в ратушу — тоже метель — Исполком: Неаполь впер в Санкт-Петербург, Москва — сплошной

здравотдел, где сыпной тиф — метелями; — метель гудит Неаполем, Неаполь воет метелями, цветут апельсины, — весь мир ощетинился— не собаками — нибелунгами, нибелунги сгибли в метели, а метель — Россия, — над Россией в метели мчат метельными стервами не метеленки: метеленками люди, избы, города, людьми мерзнут реки, города избами, и люди, и избы, и снег, и ветра, и ночи, и дни кроют, кроят, мчат, мечут — в ямбургских лесах, в себежских болотах, в людоедстве с Поволжья, — клеенка мчит ковром самолетным — для мух,— трубы печурочные — подзорные трубы в вечность, — метель, — чертовщина, — все спутано, — не найдешь камертона, —

— это тогда, когда: —

— тропинка идет по скату Везувия, уже в запылившемся, высохшем вереске, через бестенную рощицу маслин, в неподвижные заросли цветущих олеандр; внизу город, гудящий необыкновенной, единственной в мире музыкой, и синее блистающее море, — сзади, выше— белый дымок Везувия, рядом белая церковь, которая служит раз в год. И когда-то, ослепительный и прекрасный, здесь лежал город, и люди в легких одеждах шли этой тропинкой к Везувию. — Те люди, тот город — погибли:

не от вулканического извержения —

— потому что древнюю римскую культуру уничтожила — европейская чтоб погибнуть — потом — самой.— Метель.

3. Мужчины в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно.

Мистер Роберт Смит, англичанин, шотландец.

В международном вагоне, как буржуа, от Парижа до Риги, в спокойствии, как англичанин, в купэ, где были мягкость голубого бархата, строгость красного дерева, фанер, рам и блестящая тяжесть меди, ручек, скреп, — на столике, в медной оправе, около бронзовой пепельницы, в солнце, в зеркальных окнах, — лежали апельсины, апельсинные корки, шоколад в бумаге, тисненой золотом, коробка сигар, резиновый порт-табак, прибор для чистки трубок, трубки. Поезд пересекал Германию, где небо было бледно, как немецкая романтика, но был весенний день, бодро светило солнышко, и в купэ с окнами на юг, в солнце, был голубоватый свет, в бархате, в красной фанере, скрывающей мрамор умывальника. Солнце бодро дробилось в медных ручках, скрепах, оконных запорах, в бодрости красного дерева. В купэ был голубой свет, нежнее, чем дымок сигары, но дымок сигары не мешал. Голубой свет был рожден голубой мягкостью бархатных дивана и его спинки, и стульчика у стола. Мистер Роберт Смит, как всегда, спал в пижаме, в туго подкрахмаленных, скрипящих простынях. В умывальнике была горячая и холодная вода. Проводник сообщил, что кофе готово, и оставил номерок места в ресторане. Мистер Роберт мылся и обтирался до ног одеколоном, делал голый гимнастику, брился, затем надел все свежее: шелковые голубые кальсоны до колен, черные носки на прорезиненных шелковых подвязках, охватывающих икру, — черные ботинки без каблуков с острейшими носками, — крахмальную рубашку, блестящую добродетелью. Над чемоданом с костюмами мистер Смит на момент задумался и надел синий — брюки, завернутые внизу, жакет с большим прорезом, с узкой

талией и широкими полами. Пришел проводник, француз, убрать купэ. В ресторане перед мистером Смитом сидел русский, должно быть, ученый: мистер Смит это узнал потому, что господин был в визитке, но с серым галстуком, манжеты у него были пристяжные, и он за столиком — за кофе — разложил кипу немецких, английских и русских книг, — этого никогда б не сделал европеец. — В купэ дробилось, блистало солнце, был голубой свет, проводник ушел, и пахло сосновой водой. Мистер Смит сел к окну, откинулся к спинке, в солнце, ноги положил на стульчик у столика, солнце заблистало в крахмаленой груди, переломилось на тугой складке брюк, кинуло зайчик от башмака ко многим другим зайчикам, от медных сдержек, от строгого лоска красных фанер. Волосы в бриллиантине, на прямой прибор, тоже блестели, — а лицо, в голубом свете, было очень бледным почти восковым, до ненужного сухое, такое, по которому нельзя было определить возраста — двадцать восемь или пятьдесят. Мистер Смит сидел с час неподвижно, с ленивою трубкой, которая медленно перемещалась из губ в руки, вот-вот потухая. Потом он достал из чемодана дорожный блок-нот, развернул автоматическую ручку-чернильницу и написал письмо брату. —

«Эдгар, старина!

«Ты писал мне о, так называемой, гипотезе вечности и о том, что твое судно уже снаряжено и на-днях ты идешь в море к Северному полюсу. Быть может, это письмо дойдет до тебя из Лондона уже по радио. Сегодня я перееду границу прежней императорской и послезавтра — теперешней, советской России. Мы с тобой долго не увидимся. Ты прав, истолковывая ощущение вечности как фактор вообще

всякой жизни: все мы, как и история народов, смертны. Все умирает, быть может, ты или я завтра умрем, — но отсюда не истекает, что человечество, ты, я — должны ожидать свое завтра, сложа руки. Все мы, конечно, ощущаем нашу жизнь как вечность, иное ощущение нездорово, — но мы знаем о предельности нашей жизни и поэтому должны стремиться сделать — дать и взять — от жизни все возможное. Я скорблю лишь о том, что у меня слишком мало времени. В этом я вполне согласен с тобой. Но я думаю сейчас о другом, которое мне кажется не менее важным: о человеческой воле, когда народы в целом, как ты и я в частности, волят строить свою жизнь. Ты уходишь со своим судном к Северному полюсу, я еду в Россию, мы вместе, юношами, замерзали в северной Сибири. Ты у Северного полюса будешь отрезан от человечества, быть может, наверное, ты захвораешь цынгой, тебе придется неделями стоять среди льдов, очень возможно, что ты погибнешь в аварии или умрешь от холода или голода, полгода ты будешь жить в сплошном мраке, тебе покажется событием, если, быть может, посчастливится побывать в юрте самоеда, — все это ты знаешь лучше меня. Ты идешь на всяческие лишения, — и все же ты уходишь в море, хочешь уйти потому, что ты так волишь. Это свободная твоя воля. Ты волишь итти на страдания. Твои страдания, твои лишения — будут тебе даже радостью потому, что ты их волишь увидеть: это было б непереносимо, если бы это было против твоей воли. То, о чем я сейчас говорю, я называю волей хотеть, волей

видеть. Эта воля, когда она объединена нациями, человечеством, его государствами, она есть — история народов. Иногда она почти замирает, тогда у государств нет истории, как у китайцев в последнее тысячелетие. Так нарождались и умирали мировые цивилизации. Мы переживаем сейчас смену последней — Европейской. Мы переживаем сейчас чрезвычайную эпоху, когда центр мировой цивилизации уходит из Европы и когда эта воля, о которой я говорил, до судороги напряжена в России. В Париже мне сообщали, что там найден способ борьбы с брюшным тифом и не могут приступить к изучению сыпного — за отсутствием во Франции сыпнотифозных экспонатов. Любопытно проследить вплотную историческую волю народа, тем паче любопытную в аспекте людоедства и заката Европейской культуры. Но вот что проистекает еще из этой воли видеть: холодность, жестокость, мертвенность, — людям, живущим этой волей, не страшно, а только интересно смотреть — смерть, сыпной тиф, расстрелы, людоедство, все ужасное, что есть в мире. —

«Всего хорошего тебе, дорогой
Эдгар, будь здоров.
Твой брат Роберт. —»

В Эйдкунене, на германской границе, надо было пройти через таможню. Были солнечные полдни, — и около Эйдкунена, когда поезд медлил, прощаясь с Восточной Пруссией, в канаве у шпал, после уже нескольких месяцев весны в Париже, здесь впервые перед Россией появился снег. Под стеклянным навесом у вокзала, на пустынном дебаркадере, было холодновато, и откуда-то — из

полей — веял пахнущий землею, набухший русски-мартовский ветерок. Из вагонов табунками вышли джентльмены, женщин почти не было. — Предложили сдать паспорта. Трегеры в тележках повезли вещи. Прошли в таможенный зал. Американцы в буфете пили коньяк. Мистер Роберт Смит прошел на телеграф и дал несколько телеграмм:

— Миссис Смит, Эдинбург. — Мама, сейчас я переезжаю границу. Прошу Вас, простите миссис Елисавет: она не виновата. — Миссис Чудлей, Париж. — И еще раз я шлю Вам мое поклонение, Елисавет, и прошу Вас считать себя свободной. — — Мистер Кингстон, Ливерпуль. — Альфред, все мои права и обязанности я оставляю Вам. —
— Лионский кредит, Париж — — —
№ текущего счета — — —
— Министру Сарва, Ревель, Эстония — —

Мистер Смит вышел с телеграфа — в цилиндре, в черном пальто, — с приподнятым — случайно, конечно — воротником. Поезд передавался в Вержболово, в Литву, трегер принес билеты, метр-д-отель из ресторана-вагона пригласил обедать. За столом подали виски. К вечеру солнце затянуло облаками, в купэ помутнело, на столе стояла бутыль коньяку, снег встречался все чаще, поезд шел лесами, — проводник распорядился затопить печи, застукал молоточек калорифера, вспыхнуло электричество, стало тепло. Метр-д-отель пригласил к чаю. — День прошел. На столе стояла вторая бутыль коньяку.

М у ж ч и н ы: — в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно. Героев нет.

М е с т о: места действия нет. Россия. Европа, мир.

4. Россия, Европа: два мира.

Поезд шел из Парижа в Ригу — в Россию, где революция. В Берлине, на Александер-пляц, на Фридрихс-бахоф, в Цоо, — поезд останавливался на две минуты пятнадцать секунд. Международные вагоны тускло поблескивали голубиным крылом. Поезд ящерицей прокроил по крышам, под насыпями, под виадуками, через дома, над Шпрэ, над Тир-Гартеном, мутнея под стеклами крыш, в коридорах переулков, мешая дневной свет с электричеством, в гуле города. До Берлина международные вагоны были комфортабельным dolce far niente, — в Берлине исчезли дамы и миссис, сошел японский дипломат, впереди русский бунт, — поезд пошел деловым путешественником, подсели новые пассажиры, много русских. Из гама города, из шума автобусов, такси, метро, трамваев поезд выкинуло в тишину весенних полей, на восток: каждому русскому сердце щемит слово — в о с т о к. Вечером за ужином, в ресторане-вагоне, в электричестве, ужин был длинен, пили больше, чем следует, не спешили перед скучным сном. Обера и метр-д-отель были медлительны. Окна были открыты, ночь темнела болотной заводью, иногда ветер заносил запахи полей. Американцы из АРА, ехавшие в Россию, говорили только на английском, молчали, сидели табунками, породистые люди, курили трубки, пили коньяк, ноги закинули на соседние стулья, фривольность мужской компании. Большой столик заговорил, громко, по-русски и по-немецки — о России: — и это было допущено, такое неприличие, — впереди русская революция — впереди — черта, некая, страшная, где людоедство. Дипломатические курьеры — французский, английский, российский — сидели сурово. Русский профессор-путеец радостно познакомился с российским курьером, у курьера было лицо русского солдата, он был в американских круглых

очках, у него болели зубы, он молчал: профессор — тоже в очках, заговорил таинственно об «аусфуре». Поезд подходил к польскому коридору. В той перекройке географических карт и тех, которыми гадают цыганки, — перекройка, швами которой треснула Европа, европейская война и русская революция, рубец польского коридора был очень мозолящим. В купэ были приготовлены подкрахмаленные постели, открыты умывальники, — американцы и англичане пошли спать, сдав паспорта проводнику. Сторки были опущены. В коридоре негромко разговаривали русские. Одиночками у окон стояли немцы, обиженные коридором, — и одиноко, один единственный, стоял англичанин, с трубкою в зубах, перед сном. Русский профессор заспорил с латышом.

...— В России крепостное право, экономически изжитое, привело к людоедству. В России людоедство, как бытовое явление, — сказал латыш.

— Да, моя родина, моя мать — Россия, — сказал профессор: — каждому русскому Россия, нищая, разутая, бесхлебная, кладбищенская — величайшей скорбью была — и радостью величайшей, всеми человеческими ощущениями, доведенными до судороги, — ибо те русские, что не были в ней в эти годы, забыли об основном человеческом — о способности привыкать ко всему, об умении человека применяться: — Россия вшивая, сектантская, распопья, распопьи-упорная, миру выкинувшая Третий Интернационал, себе уделившая большевистскую смуту, людоедство, национальное нищенство.

Говорили почему-то оба: профессор и латышский капиталист, по-немецки, но слово — людоедство, — употребленное несколько раз, каждый раз именовали по-русски, понижая голос. Латышу, сраставшемуся с Россией детством и десятилетиями зрелой жизни, ему ведь часто ночами, спросонья, в полусне мерещились тысячи серых рук

у глотки, высохшие груди из России, с плохой какой-то картинки, — тогда его мучила одышка, вспоминалась молодость, всегда необыкновенная, ему было тоскливо лежать в простынях, он пил содовую и старчески уже думал о том, что он боится — не понимает — России, и отгоняя мысли, ибо не понимать было физически мучительно.

В купэ горели ночные фиолетовые рожки, светили полумраком. Англичанин выкурил трубку, ушел. Поезд замедлил ход. Въезжали в коридор, по вагонам пошли польские пограничники, позвякивая шпорами. Профессор заговорил об аусфуре. Пограничники ушли, за окнами в небе светила мутная луна, — коридор опустел, вагон затих. Едва пахло сигарами, фиолетовые рожки светили полумраком. Тогда по коридору бесшумно прошел помощник проводника, собрал у дверей башмаки и понес их к себе чистить, — у проводника за плотно притворенной дверью горело электричество, на столике стояла бутылка коньяка, на диване против проводника сидел джентльмен, французский шпион, составлял списки едущих в Россию. Разговаривали по-французски, — мальчишка чистил башмаки.

На другой день к полдню, у Эйдкунена появился снег,— проводники распорядились к вечеру затопить вагоны. В Эйдкунене, на таможенный осмотр, американцы вышли в демисезонных пальто, в дорожных кэпи, с шарфами наружу, перекинутыми через плечо, в желтых ботинках и крагах; американцы на платформе немножко поиграли — в импровизированную игру вроде той, которою мальчишки в России и Норвегии занимаются на льду: катали по асфальту глышки, и тот, кому этой глышкой попадали в башмак, должен был попасть другому и бегать за глышкой, если она пролетала мимо. Русский профессор заговорил обеспокоенно об аусфуре — с российским курьером, у курьера болели зубы, он молчал, — профессор вез с собой

кожаную куртку, коричневую, совершенно новую, купленную в Германии, — в сущности нищенскую — и у него не было разрешения на вывоз; латыш посоветовал выпороть с воротника клеймо фирмы, профессор поспешно выпорол; в таможенной конторе немцы, в зеленых фуражках, кланяющихся туда и обратно, сплошь с усами, как у императора Вильгельма II на карикатурах, осматривали вещи: затем каждый пассажир, кроме дипломатов, должен был пройти через будку для личного осмотра, — и в этой будке у профессора, когда он вынимал из кармана портмонэ и платок, выпал лоскут клейма фирмы, — чиновник его поднял, — профессора окружили немцы в зеленых фуражках, профессор стал школьником. Поезд передали в Вержболово, — профессор отстал от поезда. Метр-д-отель пригласил к обеду, обед был длинен, ели и бульон с желтком, и спаржу с омлетом, и рыбу, и дичь, и телячий карбонат, — на столиках стояли водки, коньяки, вина, ликеры, — после обеда долго курили сигары, — за зеркальными окнами ползли дюны, леса, перелески, болота. Все больше попадалось снега, лежал он рыхлый, бурый, — а когда пошли песчаные холмы в соснах, в лощинах тогда снег блестел в зимней своей неприкосновенности, как молодые волчьи зубы. Небо мутнело. — После обеда в комфортабельности, неспешности, долго курили сигары, пили коньяк, метр-д-отель и обера были в такте этой неспешности. Впереди Россия. —

— Впереди — Россия. —

— И через два дня, — поезд, — разменяв в Риге пассажиров, — сменив международные вагоны на советские дипломатические, выкинув из обихода вагон-ресторан, враждебный в чужой стране, с винтовками охраны у подножек, —

— исчезли англичане, французы, французские проводники, начальником поезда ехал курьер с больными зубами, очень разговорчивый, появились несуразно одетые русские, курьеры, дипломаты, сотрудники учреждений столь же необыденные, как их названия — Индел, Весэнха, Внешторг, Гомза, Профобр, Центрэвак, —

— прокроив болота и леса прежнего российского Полесья, спутав часы, запутанные российскими декретами о новом времени, —

— все холоднее становилось, все больше снегу, все зимнее небо, и путалось время тремя часами вперед, чтобы спутать там дальше, в России — и ночи, и дни, и рассветы, — чтоб слушать американцам в необыденные часы рассвета непонятную, азиатскую, одномотивную песню проводника, на многие часы, валявшегося у себя в тендере на гробах дипломатических ящиков с поленом и фуражкой в головах, — — поезд пришел в Целюпэ, к границе РСФСР.

В Целюпэ, на одинокой лесной станцийке, поезд нагнал эшелон русских иммигрантов из Америки в Россию. Небо грузилось, по-российски, свинцами, снег лежал еще зимний. Станция — станционные постройки и домики за ней — упиралась в лес, и лес же был напротив, вдали виднелся холм в сосновом бору, в лесу напротив шли лесные разработки, и станцийка была, как в Швеции, на северных дорогах,

стояли елочки по дебаркадеру, дебаркадер был посыпан желтым песком. В деревенской гостинице, на скатертях в складках, из серого домашнего полотна, в плетеночках лежал черный хлеб, какого нет на материке Европы, и в комнатах пахло черным хлебом. Хозяйка в белом чепчике приносила деревенски-жирные блюда, в тарелках до краев, и в клетке у окна пел чижик. В восемнадцати верстах была граница РСФСР, город Себеж, кругом были холмы и болота, и болота Полесья, в лесах. Иммигранты возвращались на родину — из Америки. Еще — последний раз — пограничники осматривали паспорта. К сумеркам пошел снег. К сумеркам пришел из России, с Себежа, паровоз — баба (в России мешочники подразделяли паровозы на мужиков и баб, по звуку гудка, — бабы обыкновенно были товарными). Баба потащила вагоны. Баба первая рассказала о русской разрухе, ибо у той дощечки, где сердце каждого сжималось от надписи — г р а н и ц а, — текла внизу речушка в синих льдах и были скаты холма, а вдалеке внизу лежал поселок с белой церковью, — баба остановилась, и пассажирам предложили пойти грузить дрова. — —

И Себеж встретил метелью, сумерками, грязью, шумом мешочников, воплями и матершиною на станции. Метельные стервы кружились во мраке, лизали, слизывали керосиновые светы. Забоцали винтовками, в вагоны влезли русские солдаты. Американец вышел на минуту, попал ногою в человеческий помет на шпалах, и никак не мог растолковать, волнуясь, проводнику, чтоб ему продезинфицировали башмаки. Задубасили поленом в стену, проорали, что поезд не пойдет до завтра, осадили на запасный путь, снова завопили, побежали мешочники с мешками, баба кричала: — «Дунька, Дунька, гуртуйси здеся!» — у пассажиров тихо спрашивали: — «спирту не продаешь ли?» — Метель казалась несуразной, снег шел сырой, на запасном, в тупике, когда толпа мешочников умчалась с воем, — стало слышно, как воет ветер, гудит в колесах, в тендере, как шарит сиротливо снег по стенам, у окон, шарахаясь и замирая. Американцы говорили о заносах в прериях. Приходившие стряхали мокрый снег. В вагонах стало холодно и сыро, новый примешался — над всей Россией веющий — запах аммиака, триметиламина, пота. Был поздний час, за полночь никто не понимал, ложиться спать иль нет? —

— И — тогда — пришли и сказали, что — в театре культпросвета комсомола — митинг, предложили сходить. — Вот и все. — Во мраке — первый — русский — сразу покатился под колеса, сорвавшись с кучи снега, сваленной на шпалы, встал и сматершинил добродушно. Пошли в метель. У водокачки промочили ноги и слушали, как мирно льет вода из рукава, забытая быть завернутой. Не один, не два, а многие понесли на башмаках удушливые запахи. Англичанин освещал себе путь электрическим фонариком. В вокзале на полу вповалку, мужчины, женщины и дети, лежали пассажиры. Был уже час за полночь. Когда спросили, где комсомол, — рукой мах-

нули в темноту, сказали: — «Вон тама. — Нешь не знаешь?» — Долго искали, путаясь в шпалах, поленницах и мраке....

Барак (у входа у барака была лужа, и каждый попадал в нее во мраке) был сбит из фанеры, подпирался изнутри столбами. В бараке был, в сущности, мрак. Плечо в плечо, в безмолвии, толпились люди. На сцене, на столе, коптила трехлинейная лампенка, — под стрешни в фанерном потолке врывался ветер, и свет у лампы вздрагивал. На заднем плане на сцене висел красный шелковый плакат: — «Да здравствует Великая Рабочая и Крестьянская Русская революция». У лампы за столом сидели мужики в шинелях и овчинных куртках. Театр из фанеры во мраке походил на пещеру. Говорил мужик в шинели, — неважно, что он говорил:

— Товарищи! Потому как вы приехали из Америки, этот митинг мы собрали, чтоб ознакомить вас, приехавших из Америки, где, сказывают, у каждого рабочего по автомобилю, а у крестьянина — по трактеру. У нас, товарищи, скажу прямо, ничего подобного нету. У нас, товарищи, кто имеить пуд картошки про запас, — спокойный человек. Для вас не секрет, товарищи, что на Поволжьи люди друг друга едят. У нас колосональная разруха. — Н-но, — товарищи, — нам это не страшно, потому что у нас наша власть, мы сами себе хозяева. И нам известно, почему вы приехали из Америки, хоть у нас свиного сала и нет, — не то — чтобы кататься на автомобилях. У нас теперь власть трудовых советов, а для заграницы у нас припасен Третий Интернационал. Мы всех, товарищи, зовем итти с нами и работать, — н-но, — товарищи, — врагов наших мы беспощадно расстреливаем. — Вот, товарищи, какие дизгазы и промблемы стоять перед нами.

Что-то такое, так, гораздо длиннее, говорил солдат. Люди, плечо в плечо, стояли безмолвно. К солдатским словам примешивался вой ветра. Лампенка чадила, но глаз привык ко мраку, и лица кругом были строги. Театр был похож на пещеру. Солдат кончил. Вот и все. За ним вышел говорить старик иммигрант.

— Дорогие товарищи, я не уполномочен говорить от лица всех. Я девятнадцать лет прожил в Америке, — не кончил, зарыдал, — выкрикнул: — Россия! — Его посадили к столу, плечи его дергались.

Двое —англичанин и русский филолог — вышли из театра — клуба комсомола, во мрак, в метель. Англичанин машинально пробрел по луже. — Да, иная Россия, иной мир. Англичанин поднял воротник пальто.

— Вас поразил митинг? — спросил англичанин.

— Нет. Что же — это советские будни, — ответил филолог.

Поезд стоял в тупике, — поезд впер в Россию. Вот и все.

Вот и все.

Впрочем — вот, чтоб закончить главу, как вступление:

— о неметельной метели.

5. О немотельной метели.

Я не знаю, как это зовется в народе. Это было в детстве, в России, в Можае. Это был, должно быть, сентябрь, начало октября. Я сидел на окне. Напротив был дом — купеческий, серый, дом Шишкиных, направо площадь, за нею собор, где ночевал Наполеон. Против дома Шишкиных, на углу стоял фонарь, на который в пожарном депо отпускалось конопляное масло, но который никогда не светил. Ветер был такой, что у нас повалился забор, у Шишкиных оторвало ставню и сорвало железо с крыши, фонарь качался — ветер был виден, он был серый — он врывался, вырывался из-за угла, нес с собой серые облака, серый воздух, бумажонки, разбитое решето, ветер гремел калитками, кольцами, ставнями — сразу всеми со всего переулка. Была гололедица, земля вся была в серой корке льда. Одежда на людях металась, рвалась, взлетала над головами, — люди шли, растопырив все конечности, — и у фонаря люди, сшибаемые ветром, — все до одного, — бесполезно стремясь ухватиться за столб, выкидывая ногами крендели, летели вслед за решетом. Мой папа доктор, пошел в земскую управу, на углу он вскинул ногой, рукой хотел было схватиться за столб, — и еще раз вскинул ногой, сел на землю и дальше пополз на четвереньках, головою к ветру: ветер был виден. Мальчишки, — Васька Шишкин, Колька Цвелев, — и тут нашлись: они на животах выползли в ветер, и ветер их тащил по ледяной корке. — Была гололедица, был страшный ветер, как Горыныч, — и все было серо, отливающее сталью: земля, небо, ветер, дома, воздух, фонарь. И ветер, — кроме того, был еще вольным. — Мама не пустила меня в тот день на улицу, мама читала мне «Тараса Бульбу». Тогда, должно быть, сочинились стихи, оставшиеся у меня от древнего моего детства:

— Ветер дует за окнами,
Небо полно туч.
Сидим с мамой на диване.
— «Ханша, ты меня не мучь». —
— Ханша —

это собака. —

---

1. С вышгорода — с Домберга, где старый замок, из окон Провинциального музея и из окон польского посольства, виден весь город и совершенно ясны те века, когда здесь были крестоносцы и здесь торговали ганзейские купцы. Из серого камня под откосом идет стена, она вбита в отвес холма: Калеево, народный эпос, знает, что эта гора снесена по горсти — пращурами — рыцарями. Стена из серого камня упирается в серую башню, и башня как женская панталонина зубцами прошивки кверху. Домберг высок, гнездо правителей. На ратуше — на кирках бьют часы полдень, башни кирок и ратуши, готика, как застывшая музыка, идут к небу. Там за городом, во мгле — свинцовое море, древняя Балтика, и небо, седое как Балтика. —

— Этой ночью палили из пушек с батареи в бухте у маяка, ибо советский ледокол «Ленин» поднял якоря и пошел без таможенного осмотра — в море, в ночь: без таможенного осмотра, и пушки палили перед его носом — в учебной стрельбе, — как сказано было в ноте, пользуясь ночным часом, когда не ожидалось кораблей. В посольстве говорили о контрабандистах, рассказывали, что в море, в Балтийском море, бесследно погибло пять кораблей, один эстонский, два финских и два шведских, были улики пиратства, подозревали, что пиратствуют российские моряки, Кронштадт, — и тогда же шептали о восстании корелов против России. —

— С вышгорода видны были снежные поля. В башне, как женская панталонина, поэты, писатели и художники устраивали свой клуб, с именем древнего клича — Тарапита. В башне до поэтов жили совы. По стене шли еще башни, две рядом назывались — Тонкий Фауст и Толстая Маргарита: Толстую Маргариту, где была русская тюрьма, разгромили в 1917 году белою ночью в мае. — В старом городе извозцы ездили с бубенцами, ибо переулки были так узки, что два извозчика не разъехались бы. Каждый закоулок должно было бы снести в театр, чтоб играть Эрика XIV, и Бокаччио мог бы украшать «Декамерон» стилями этих переулков. На острокрыших домах под черепицею еще хранились годы их возникновения: 1377, 1401, и двери во всех трех — кононных — этажах открывались прямо на улицу, — а на доме клуба черноголовых, древней купеческой гильдии, до сих пор из-под угла крыши торчало бревно с блоком, ибо раньше не было лестниц и во все три этажа поднимались с улицы по блоку на подъемной площадке, площадку на ночь оставляли под крышей и жили так: в нижнем этаже лавка и пивные бочки, в среднем — спальня и жена с детьми, в верхнем — склад товаров. — В полдень на кирках били колокола, из Домберга, из окон было видно, как помутнела Балтика и небо, и как идет метель на город. — Нет, не Россия. —

— В Толстой Маргарите была русская тюрьма. Россия правила здесь двести лет, — здесь, в древней русской Колывани. — Русский Октябрь хряпнул по наковальне 1917 года: — Великая Россия Великой Революцией метнула в те годы, теми годами, искрами из-под наковальни, — Эстией, Латвией, Литвой, — и Эстии, Латвии, Литве, в снегах, в морозах — суденышком, всеми покинутым, — поплыть в историю, партизанствуя, отбиваясь друг от друга, от России, как от немцев, в волчьей мировой драке и русской смуте, — возлюбить, как Бельгия, себя, свои болота и леса. — Россия метнула Эстией, Литвой, Латвией, монархией, — императорской культурой, — русской общественностью, — оставив себе советы, метели, распопье, сектантство и муть самогонки, — а здесь в древне-русской Колывани: —

— тор-го-вали ви-ном, маслом, мясом, сардинками, всем, хе-хе-хе, в национальном государстве, — совсем как десять лет назад в России. Историк, — размысли. Поэты крикнули клич — Тарапита!

Культура — финско-нормандская. Средневековье смешалось с сегодня. Здесь запоют еще Калевича. Здесь есть рыцари-партизаны, которых чтут, которые своею кровью защищали свое отечество от немцев, от большевиков, от смуты. Здесь в башне Тарапита поэты, писатели и художники, рыцари в рыцарском зале — бокалом вина, бочкой пива величали на родном своем языке, встречая русского, бежавшего от родины, писателя: они на родном своем языке говорили о своей нации, о своей борьбе за свой национальный быт и за демократию, — переводчик переводил, — русский писатель ответил по-русски, и его речь перевели, — тогда пили бокалы и кубки: —

— и все вместе

потом стали русские петь студенческие песни о том, как

«умрешь, — похоронят» — —

— здесь женщины, чтобы помолодеть, мажут лицо какою-то змеиною едкою мазью, и с лица сходит кожа, растет новая, молодая, и женщина молодеет. —

— А где - то в другом месте, за тысячи верст и отсюда и от России, — от русской земли, — два человека, русских два писателя, — в воскресный день, в заполдни, — рылись в вещах, — и они нашли коробочку, где была р у с с к а я з е м л я, — не аллегория, не символ, — а просто русская наша земля, — сероватый наш русский суглинок, увезенный в коробочке за тысячи верст: — и ах как тоскливо стало обоим, такая тоска по земле! Тогда перезванивали колокола на кирке, и они не слышали их: они были два русских изгоя. Хряпнул Октябрь не только октябрьскими слезками Эстии, Литвы и Латвии: если себе Россия оставила только советы и смуту, метель и распопщину, то те, кто не хотел русской мути, метели и смуты, кто ушел от России — тот вне России: фактически. Имя им — изгои. В те годы было много Кобленцев. — И: просто русский сероватый н а ш с у г л и н о к.

а — —

Ресторан, лакеи, фраки, смокинги, крахмалы, дамы, оркестр румын. —

— Встааааать! —

— Смиирнааа! —

«Боже, царяа хрании, —

«Сиильный, державный — — —

в-с-d-е-f

h —

Улица, перекресток, там вдали клуб черноголовых, здесь ратуша, и на ней часы показывают одиннадцать дня, морозный день.

— Полковник Саломатин? — это басом, обветренным многими ветрами.

— Никак нет, изволите ошибаться.

— Оччень жаль, о-чень жаль! — хотя, впрочем, — очень приятно... — Я полковнику Саломатину должен дать в морду, — в морду-с! — он предатель отечества... С кем имею честь? — позвольте представиться: ротмистр русской службы Тензигольский. — Очень похожи на полковника Саломатина, — он предался большевикам! —

— Куда изволите итти? —

— Ах, пустяки, — надо зайти на перепутьи выпить рюмку водки. — И потом в ресторане, после многих рюмок —

— Вы, конечно, коллега, заплатите?.. Э-эх, прос... Россию, все, все вместе, сообща. Что говорить. — И бас, обветренный всяческими ветрами, не умеет быть тихим, — а гла-

за, также обветренные, смотрят в стол. —

k-m — —

русская же ф, фита, отмененная, неотменимая, новым правописанием в России, — будет, есть в конце русской абевеги. — —

2. Шахматы без короля.

В полдни с вышгорода видно, как идет метель. Полдни. У крепостной стены, около шведской церкви из гранита, наполовину врытой в землю, — дом, в котором жили — когда-то — шведские гильдейцы. В этом доме гостиница теперь: «Черный Ворон». В последнем этаже гостиницы, где раньше гильдейцы-шведы хранили свой товар, — последние — за тридцать — номера, вход на чердак, комнаты для оберов и фреккен, потолок почти в уровень с головой и в узких окнах черепицы крыш соседних зданий. С полдня и всю ночь — из ресторана внизу — слышна музыка струнного оркестра. Здесь живет богема, гольтепа, все комнаты открыты. Здесь проживает русский князь художник, три русских литератора, два русских офицера, художники из Тарапита, — здесь бывают студенты-корпоранты, партизаны, офицеры национальной и прежней русской армий, министры, губернаторы, поэты. — И в тридцать третьем номере, — в подштанниках с утра играют двое партию в шахматы, начатую вчера, — русский князь-художник и русский офицер. На столе у шахмат ужин на подносе, а на кровати, где свалены пальто, спит третий русский. На столике и под столом бутылки из-под пива, стаканы, рюмки, водка. Князь и офицер сидят склонившись к шахматной доске, они играют с ночи, они долго думают, они долго изучают шахматную доску, их лица строги. На чердаке безмолвие, тепло, за окнами

зима. Безмолвно иной раз проходит фреккен с ведерком и щеткой, в крахмальном белом фартучке, — и навощенный пол и крашеные стены в морозном желтом свете блестят, как им должно блестеть в горнице у бюргера. Двое за шахматами безмолвны, они изредка — по глотку — пьют помесь пива с водкой.

Тогда приходит, запушенный снегом, ротмистр Тензигольский. Он долго смотрит в шахматную доску, бекешу сваливает на спящего, садится рядом с игроками и говорит недоуменно князю:

— Да как же ты играешь так?

— А что?

— Да где же твой король?

Ищут короля. Короля нет на шахматной доске: король вместо пробки воткнут в пивную бутылку. — Мешают шахматы, толкают спящего и расходятся по комнатам — ложиться спать. Фреккен убирает комнату — моет, чистит, отворяет окна в ветер — каждый день из стойла превращает фреккен в комнату, в жилище мирное, как бедный бюргер.

Ротмистр Тензигольский спускается по каменной лесенке, выбитой в стене, — вниз; в ресторане уже надрывается оркестр, и скрипки кажутся голыми, обера во фраках, бывшие офицеры русской армии, разносят блюда. Ротмистр Тензигольский у стойки, по привычке, пьет рюмку водки и идет в метель, в кривые тупички улиц, где трое расходятся с трудом. — Князь Паша Трубецкой, грузясь в мути сна, сквозь сон слышит, как в шведской церкви — не по-русски — медленно вызванивает колокол. — Во французской миссии Тензигольский долго ждет начальника контрразведки, скучает, а когда начальник приходит, рапортует ему о сысковом. Начальник пишет чек. — —

Есть закон центробежных и центростремительных сил, и другой закон, тот, что родящими, творящими будут

лишь те, кто связан с землей, с той землей, с суглинком, над которым плакали где-то два писателя. И еще: первейшая связь с землей у людей — есть дети и женщины, несущие плод. Но по закону центростремительной силы (метель кружит?) — откинуты те единицы, которые весят и умеют весить больше других: историки «Истории Великой Русской Революции» в главе «Русская эмиграция» рассказали, что русский народ поистине богоносец и что подвижничество Серафима Саровского — было, было, пусть это и не главное, — а главное: —

— «Очень жаль! о-чень жаль! — хотя, впрочем, очень приятно. Я полковнику Саломатину должен дать в морду, — в морду-с! — он предался большевикам!»

Во французской контрразведке тайный агент ротмистр русской службы Тензигольский получил чек. Из французской контрразведки ротмистр Тензигольский — трансформировавшись в полковника Саломатина — без всякой мистической силы из Тензигольского став Саломатиным — пошел в вышгород, в польскую контрразведку. Мальчишки на коньках и на шведских санках, на которых надо толкаться одной ногой, обгоняли ротмистра-полковника Тензигольского-Саломатина. У поляков полковнику Саломатину говорят:

— Сюда приезжает из России красноармейский офицер, шпион, — Николай Расторов — —

Глаза полковника Саломатина, обветренные многими ветрами, лезут из орбит.

— Как?! — так — слушаюсь — —

3. Шахматы без короля.

Странные бывают совпаденья — иному все совпадения полны мистического смысла. За Домбергом, за станцией в стройных деревцах, в домике шведского стиля, —

в перлюстрационном — черном — кабинете работали двое. Письма были обыденны, труд был обыденен, оба трудившихся были русские, русский генерал и российский почтово-телеграфный чиновник. Генерал, Сергей Сергеевич Калитин, наткнулся на посылку, в бандероли была серия порнографических открыток. Генерал прочел имя адресата — князь Павел Павлович Трубецкой, — генерал убрал открытки к себе в портфель, изничтожив бандероль. Павлу Павловичу Трубецкому был кроме того денежный пакет. Ротмистру Тензигольскому глухо сообщалось из России, что должен приехать Николай Расторов. Несколько писем было Лоллию Львовичу Кронидову и от Лоллия Львовича: брат писал о том, как восторженно встречали Врангеля в Белграде; Лоллий Львович писал брату, что в России людоедство, большевики деморализованы, власти на местах нет, власть падает, всюду бунты, восстание корелов превращается в национальный крестовый поход за Россию, в Балтийском море пиратствуют советские суда из Кронштадта, Россия же, где людоедство, оказалась некиим бесконечным пустым пространством, где на снегу, чуть прикрытые лохмотьями, были люди, из каменного века, волосатые с выросшими челюстями с пальцами на руках и ногах как прудовые каряги, причем около одних, сидящих, кроме ржаной каши и конины, лежали — у каждого по пять наганов, по пять винтовок, по пять пулеметов и по одной пушке, — другие же люди, безмерное большинство, лежали или ползали на четвереньках, разучившись ходить, и ели друг друга. И еще Кронидов писал — в другом уже письме, — что ему выпало прекрасное счастье, — полюбить, он встретил прекрасную девушку, чистую, целомудренную, милую — —

— ...В России — в великий пост — в сумерки, когда перезванивают велико-

постно колокола и хрустнут после дневной ростепели ручьи под ногами — как в июне в росные рассветы, в березовой горечи, — сердце кто-то берет в руки, — сердце наполнено, — сердце трепещет, и знаешь, что это мир, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой, так же тесно, как сердце в руке, — и мир, земля, кровь, целомудрие (целомудрие, как березовая горечь в июне) — одно: чистота. — Это — девушка.

Вот отрывки из письма о приезде Врангеля:

«Этот день был истинным праздником для Белграда. С утра начались хлопоты об освобождении от занятий в разных учреждениях, и к часу дня к вокзалу тянулись толпы народа. Р о с с и й с к и й посланник с чинами миссии, члены Русского Совета Национального Центра, Штаб Главнокомандующего в сопровождении многочисленных генералов и офицеров, участников Крымской кампании, представители беженских организаций, русские соколы в качестве почетного караула, множество дам, — все явились на вокзал, все слились в общем сознании единства, вызываемом чувствами любви и уважения к Вождю Русской Армии П. Н. Врангелю». —

После двух, после службы, генерал Сергей Сергеевич Калитин пошел домой, за город, к взморью, в дачный поселок. Короткий день сваливал уже к закату, мела метель, дорогу, шоссе в липах, заметали сугробы, обгоняли мальчишки на шведских саночках, мчащиеся с

ветром, спешили к морю кататься на буйках. Дача стояла в лесу, в соснах, двухэтажная, домовитая. Под обрывом внизу было море, на льду, на буйках мчали мальчишки. У обрыва, у моря встретила дочь, — завидев, побежала навстречу бегом, ветер обдул короткую юбку, из-под вязаной шапочки выбились волосы, рожь в поле на закате щек: вся в снегу, в руках палка от лыж, девушка — девочка, как березовая горечь в июне рассветом. Семнадцатилетняя Лиза. Крикнула отцу:

— Папочка, — милый, — а я все утро — в лесу — на лыжах — —

Море слилось с небом, горбом изо льдов бурел ледокол «Ленин». По берегу, за дачами, вокруг дач, стояли сосны. Старшая дочь, Надежда, в пуховом платке, отперла парадное, запахло теплом, нафталином, шубами, к ногам подошел, ткнулся в ноги сен-бернар. Свет был покоен, неспешен. В доме, в тепле не было никакой метели. Генерал по коврам прошел в кабинет, замкнул портфель в письменный стол. С сен-бернаром вбежала Лиза, от резкого движения мелькнули панталоны.

— Папочка, — милый — обедать — мама зовет.

Генерал вышел в столовую, к высоким спинкам стульев, глава семьи.

4. Ш а х м а т ы б е з к о р о л я.

— Слушайте, Лоллий Львович, ведь это чорт знает что. Вчера я был с визитом у министра, — сегодня об этом трезвон, как об карманном воровстве, — и мне уже отказано от дома у министра, потому что я был сегодня с визитом у русской миссии.

— Не в русской, а большевистской.

— Ах, чорт. Да нет же никакой другой России, Лоллий Львович.

— Нет, есть. Я — гражданин России, Великой, Единой, Неделимой.

— Да нет такой России, рассудите, Лоллий Львович. — А третьего дня я был у эс-эров, и в русской миссии мне намекали на это, что этого я делать не имею права. А у эс-эров справлялись: не чекист ли я? Чорт бы всех побрал! Дичайшая какая-то сплошная-контрразведка.

И Лоллий Львович загорается, как протопоп Аввакум. Он говорит, и слова его, как угли.

— Да, гражданин Великой, Единой, Неделимой, — и пусть все уйдут, один останусь, — проклинаю! — Нет, вы не правы. Вы, конечно, и большевик, и чекист, и предатель отечества. Это все одно и то же. Вы приехали с большевистским паспортом. Стало быть, вы признаете большевиков, — стало быть вы их сообщник. Или еще хуже: вы отрицаете, что вы коммунист, вы скрываете, — стало быть, вы — их тайный агент! Вы не отказываетесь от большевистского паспорта, а иметь его — позорно.

У Расторова глаза ползут на лоб, таращатся по-тензигольски, он ежится по-лермонтовски кошкой и — кричит неистово:

— Убью! Молчи! Не смей! — Пойми! Дурак, — я голод, разруху, гражданскую войну на своем горбу перенес. Я — сын русского губернатора. У вас свобода, — а свободы меньше, чем у большевиков.

И Лоллий:

— Вы были в армии Буденного?

— Да, был — и бил полячишек и всякую сволочь. К чорту монархистов без царя и без народа.

Неспешная, под орех крашеная дверь на чердаке, где раньше был склад шведских гильдейцев, — умеет громко хлопать. Николай Расторов — в беличьей куртке и в кепке из беличьего меха, и ноги у него кривые, в галлифе и лаковых сапогах, а голова — тяжелая, большая, —

и глаза обветрены немалыми ветрами. — А Лоллий Львович, в халатике, с лицом, уставшим от халата, с бородкой клинышком, — человек с девичьими руками, — на диванчике в углу, один, — как протопоп Аввакум.

— И вы тоже — к чорту — к чорту — к чорту — —

Пять дней назад, в Ямбурге, из России выкинуло человека, счастливейшего, — Николая Расторова! — офицера-кавалериста, обалдевшего от восьми лет войны, ибо за эти годы он был и гусаром его величества, и обитателем московского манежа, и командиром сотни корпуса Буденного, и сидельцем Вечека — кандидатом в Энчека — чрезвычайную комиссию небесную, — но в России Лермонтовы — повторяются ведь, и он, романтик, казался хорошим Лермонтовым. В «Черном Вороне» у шведской церкви было тепло, за окнами, за черепитчатой крышей, высилась шведская кирка, и звон колокольный грузился в муть. Лоллий Кронидов, человек с девичьими руками, долго сидел над кипой газет, составляя телеграммы.

5. Пятьсот лет.

а. — За Толстой Маргаритой, — как женская панталонина зубцами прошивки кверху, — где склонился к Толстой Маргарите Тонкий Фауст, за серой каменной городской стеной у рва, в проулочке, столь узком, что из окна в окно в третьих этажах — через улицу — можно подать руку (там, наверху, за острокрышими черепицами, белое небо), — в проулочке здесь — древний дом. Дубовая дверь, кованая железом, открывается прямо в проулок; за дверью, выбитая в стене, идет каменная лестница во все три этажа. Дом и дубовая дверь позеленели от времени. Черепитчатая крыша буреет. Дом сложен из гранита. В этом доме — в этом самом доме — пятьсот лет подряд ежедневно, еженощно, пятьсот лет день в ночь и

ночь в день (об этом написана монография) был и есть публичный дом. Об этом написана целая монография, — это, конечно, тоже культура. Внизу в доме всего одна комната — рыцарский зал со сводчатыми потолками; в других двух этажах — стойльца девушек и по маленькому зальцу. В стрельчатых окнах решотки, и стекла в окнах оранжевые. Этот дом прожил длинную историю, он всегда был аристократическим, и в древности в него пускали только рыцарей и купцов первой гильдии: в нижнем, в рыцарском зале, у голландской печи, добродетельной и широкой, как мать добродетельного голландского семейства, в изразцах, изображающих корабли и море, еще сохранились те медные крюки, на которые вешали рыцари — для просушки — свои ботфорты, коротая здесь длинные ночи — за костями, за картами, за бочкой пива. У стены, где, должно быть, был прилавок, еще осталась решотка, куда ставили шпаги. Здесь был однажды с вельможею своим Меньшиковым русский император Петр I. Из поколения в поколение, почти мистически, сюда приводились девушки в семнадцать лет, чтоб исчезнуть отсюда в неизвестность к тридцати годам. Этот гранитный дом жил необыденной жизнью. Днем, когда через оранжевые стекла шел желтый свет, он был мирен и тих, как мирный бюргер, почти весь день в нем спали. Иногда здесь задневывали мужчины или заходили днем, чтоб донести долг: тогда они ходили по всем трем этажам, рассматривали памятники старины, толковали товарищески с проститутками, проститутки, как добрые хозяйки, приглашали выпить кофе, уже бесплатно, показывали фотографии своих отцов и матерей и рассказывали историю дома, так же знаемую и столь же поэтическую, как фотографии отцов и матерей. — Стародавние времена прошли, публичный дом в пятьсот лет крепким клыком врос в нумизматику столетий, рыцари и гильдейцы исчезли, — остались лишь

крюки для рыцарских ботфортов, — и в этом публичном доме их заменила богема. —

— Романтикам: романтизировать. Мистикам: мистифицировать. Поэтам: петь. Прозаикам: трезветь над прозой. —

— Публичный дом в пятьсот лет. Сколько здесь было предков, дедов, отцов, сыновей — и — внучат, правнуков? — Сколько здесь девушек было? — Пятьсот лет публичного дома — это, конечно, и культура, и цивилизация, и века.

b. — А над древнею русскою Колыванью, над публичным домом в пятьсот лет, над «Черным Вороном» — метель. Ветер дует с Балтики, от Финского залива, от Швеции, гудит в закоулках города, который надо, надо бы взять в театр, чтоб играть Эрика XIV, и которым мог бы Бокаччио украшать «Декамерон». — Это знают в польской миссии. — Ветер гудит в соснах у взморья. Город сзади, здесь — сосны, обрыв и под обрывом мутный, тесный простор Балтики. — Лиза Калитина — в доме, в зале (в зале линолеумовый пол, в нем холодком — отражаются белые окна) — Лиза Калитина стоит среди комнаты, девушка, как березовая горечь в июне в рассвете, волосы разбились, руки в боки, носки туфлей врозь, — что же — молодой зеленый лук? или шахматная королева на шахматной доске квадратов линолеума? — горький зеленый лук! — Старшая Надежда, в шали на плечах и с концом шали по полу, с книгой в руке, идет мимо. Лиза говорит:

— Наденька, — метель. Пойдем к морю.

И Лиза Калитина одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море: — здесь под обрывом льды — там далеко свинцы воды, — и там далеко над морем мутный в метели красный свет ухо-

дящей зари. Снежные струи бегут кругом, кружатся около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются. По колена в снегу, ног в снегу и под юбкой не видно: чтобы срастись со снегом. — «Это я, я». — — Снег не комкается в руках, его нельзя кинуть, он рассыпается серебряной синей пылью. — Разбежаться: три шага, вот от этой корявой сосны, — и обрыв, упасть под обрыв, на льды — —

— В «Черном Вороне», князь Павел Павлович Трубецкой, проснувшись в 31-ом своем номере, в пижаме, моется, бреется, душится, разглаживает редеющий свой пробор, чуть-чуть кряхтит, шнуруя ботинки. — Князь вспоминает о партии в шахматы без короля. Князь звонит, просит сельтерской: в тридцать девятом номере, напротив, — громкий спор о России. Сельтерская шипит, охлаждает.

— Какая погода сегодня?

— Метель, ваше сиятельство.

— Ах, метель, хорошо. Ступайте. —

Шведская церковь мутнеет в метели, в сумерках. Лоллий Кронидов проклинает Россию, страну хамов, холуев и предателей, гудят незнакомые басы: клуб и хождение в третьем этаже уже начались. Князь перелистывает «Ноа-Ноа» Поля Гогена: — ту работу, которую князь начал полгода назад, нельзя кончить, потому что не хватает дней. За стеною — кричат, несколько сразу, злобно, о России. Князь идет вниз, в ресторан, выпить кофе. Оркестр играет аргентинский танец, скрипки кажутся голыми. Уже зажгли электричество. Обер — русский офицер — склоняется почтительно. Князь молчалив — —

— Надежда Калитина, старшая, идет по всем комнатам, таща за собой шаль и книгу; в кабинете спит отец, надо будить к чаю; — из мезонина — в сумерках — видно мечущиеся верхушки

сосен. — «Все ерунда, все ерунда». — —

— По сугробам, зарываясь в снегу, — к обрыву, — к Лизе, — бежит сен-бернар, Лизин друг. Лиза треплет его уши, он кладет лапы ей на плечи и целит лизнуть в губы. Они идут домой, Лиза стряхивает снег — с шубки, с платья, с ботинок, с шапочки. — Дом притих в первой трети вечера. Внизу, в гостиной на диване вдвоем сидят старшая Надежда и князь Павел Павлович Трубецкой. Лиза кричит:

— А-а, князь, князька! я сейчас, — и бежит наверх, снять мокрое белье и платье.

Надежда знает, что губы князя — терпкое вино: самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком. Разговор, пока Лиза наверху, короток и вульгарен. Здесь не было камина и помещичьей ночи, хоть и был помещичий вечер, коньяк не жег холодом, от которого ноют зубы, и который жжет коньяком, — здесь не утверждался — Иннокентием Анненским — Лермонтов, но французская пословица — была та же.

— Ты останешься у нас ночевать? — Останься. — Я приду.

— Знаете, Надин, все очень пошло и скучно. Мне все надоело. Я запутался в женщинах. Я очень устал — —

Лиза сбегает — ссыпается — с лестницы.

— Лиза Калитина, здравствуйте.

— Здравствуйте, князька! — а я была у обрыва, — как там гудит ветер! После ужина пойду опять, — пойдемте все! Так гудит ветер, так метет, — я вспомнила нашу нижегородскую.

Надежда сидит на диване с ногами, кутается в шаль. Лиза садится в кресло, откидывается к спинке, — нет, не шахматная королева, — зеленая стрела зеленого горького лука. Князь расставил ноги, локти опер о колени, голову положил на ладони.

— Я задумал написать картину, — говорит князь, — молодость, девушка в саду, среди цветущих яблонь, — удивительнейшее, прекрасное — это когда цветут яблони, — девушка тянется сорвать яблоновый цвет, и кто-то, негодяй, вожделенно — смотрит на нее из-за куста: — полгода как задумал, сделал эскиз — и не хватает времени как-то... Очень все пошло...

— Обязательно пойдем после ужина к обрыву, — это Лиза.

— Что же, пойдемте, — это князь.

Из кабинета приходит генерал, кряхтит — добрый хозяин — здоровается, шутит: — давно не виделись, надо выпить коньячишка, — Лизе надо распорядиться, чтобы мама позаботилась об ужине повкуснее. За ужином князь чувствует, как тепло водки разбегается по плечам, по шее, — привычное, изученное тепло алкоголя, когда все кругом становится хрупким и стеклянным, чтобы потом — в онемении — стать замшевым. Генерал шутит, рассказывает, как мужики в России лопатки, те, что на спине, называют крыльями: от водки всегда, первым делом, тепло между крыльями; Лиза торопит итти к обрыву, — и князю нельзя не пойти, потому что в метели есть что-то родное яблоновому цвету — белым снегам цветения яблонь. Генерал недовольно говорит, что ему надо посекретничать с князем. Надежда повторяет: — «Я иду спать, пора спать» — —

Сосны шипят, шумят, стонут. Ничего не видно, снег по колена. У обрыва ветер, невидимый, бросается, хватает, кружит. С моря слышно — не то воет сирена, не то сиреною гудит ветер. Князь думает о яблоновом цвете, гуляет тепло алкоголя между обескрыленных крыльев. Там, у обрыва, стоят молча. Слушают шипение сосен. Лиза стоит рядом, плечо в плечо. Лиза стоит рядом, князь берет ее за плечи, поднимает ее голову, заглядывает

в глаза, глаза открыты, Лиза шепчет: — «Как хорошо!» — князь думает минуту, — минута как вечность, — князь тоже шепчет: «Моя чистота» — и целует Лизу в губы; губы Лизы теплы, горьковаты, неподвижны. Они стоят молча. Князь хочет прижать к себе Лизу, она неподвижна, — «моя милая, моя чистота, мое целомудрие» — —

— Пойдемте домой, — говорит Лиза громко, глаза ее широко раскрыты, — я хочу к маме.

Лиза идет впереди, почему-то очень деловито. Из прихожей генерал зовет князя к себе в кабинет. Лиза проходит наверх. Надежда стоит у окна в ночном халатике.

— Князь пошел спать? — спрашивает Надежда.

Генерал закрывает двери кабинета поплотнее, крякает.

— Видите ли, князинька, хочу вам показать — не купите ли — —

Генерал показывает князю серию порнографических фотографий, где мужчины и женщины в масках иллюстрировали всяческие человеческие половые извращения, — и князь краснеет, сизеет мучительно, ибо на этих фотографиях он видит себя, тогда в Париже, после Константинополя и Крыма, спасшего себя этим от голода — —

Генерал говорит витиевато:

— Видите ли — нужда — жалованья не хватает — дети, дочери — вам — художнику — —

Лермонтов не подтверждается Анненским этой метельной ночью. На самом ли деле самое вкусное яблоко — это то, которое с пятнышком? — —

Лиза — наверху в мезонине — говорит Надежде, — Лизу Калитину впервые поцеловал мужчина, Лиза Калитина, как горечь березовая в июне, — Лиза говорит Надежде, — покойно углубленно, всеми семнадцатью своими годами:

— Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю.

У Надежды, — нет, не ревность, не оскорбленность женщины, — любовь к сестре, тоска по чистоте, по правде, по целомудрию, по попираемой — кем-то — какой-то — справедливости, — сжали сердце и кинули ее к Лизе — в объятия, в слезы —

a — b — —
c —

Нет, не Россия. Конечно, культура, страшная, чужая, — публичный дом в пятьсот лет, за стеной, у Толстой Маргариты и Тонкого Фауста. Внизу, у печки, еще хранятся медные крюки для рыцарских сапог. В «Черном Вороне» — была же, была шведская гильдейская харчевня. —

— Над городом метель. В публичном доме тепло. Здесь богема теперь, вместо прежних рыцарей. Две девушки и два русских офицера разделись донага и танцуют голые ту-стэп: голые женщины всегда кажутся слишком коротконогими, мужчины костлявы. Музыки нет, другие сидят за ликером и пивом, воют мотив ту-стэпа и хлопают в ладоши, — там, где надо хлопать смычком по пюпитру. Час уже глубок, много за полночь. — Иногда по каменной лестнице в стене парами уходят наверх. Поэт на столе читает стихи. И народу, в сущности, немного, — в сущности, сиротливо, — и видно, как алкоголь — старинным рыцарем, в ботфортах — бродит, спотыкаясь, по сводчатому несветлому залу. — Ротмистр Тензигольский сидит у стола молча, пьет упорно, невесело, глаза обветрены — не только ветрами, и ночи трудились в обветривании. Местный поэт с русским поэтом весело спорят о фрекен из «Черного Ворона», — русский поэт, на пари, заберется сегодня ночью к ней: к сожалению, он не учитывает, что в «Черный Ворон» вернется он не ночью, а утром, после кофе у Фрайшнера. — Николай Расторов

еще с вечера угодил в этот дом, с горя, должно быть, — и как-то случайно уснул возле девушки: — в нижней рубашке, в помочах, в галлифе и женских туфлях, он спускается сверху, смотрит угрюмо на голоспинных и голоживотых четверых танцующих, подходит к поэтам и говорит:

— Ну, и чорт. Это тебе не Россия. Заснул у девки, а карманы — не чистили. Честность. — Сплошной какой-то пуп-дом. Я успел тут со всеми перепиться — и на ты, и на мы, и на брудер-матер. Не могу. Собираюсь теперь снова выпить на вы, послать всех ко — е — вангелейшей матери и вернуться в Москву. Не могу, — самое главное: контрразведка. Затравили меня большевиком. Честность.

— Ну, и чорт с тобой, — брось, выпей вот. На все — наплевать. — Даешь водки!

Ротмистр Тензигольский встает медленно, — трезвея, должно быть, — всползая вверх по изразцам печи, — ротмистр царапает затылок о крюк для ботфортов, глаза ротмистра — растеряны, жалки, как головы галчат с разинутыми ртами.

— Сын — Николай...

И у Николая Расторова — на голове галчонка: — тоже два галчонка глаз, удивленных миру и бытию.

— О — Отец?.. Папа! — —

Утром в публичном доме, в третьем этаже, в маленькой каменной комнате, как стойло, — желтый свет. Здесь на пятьсот лет протомились днями в желтом свете тысячи девушек. В каменной комнате — нет девушки, здесь утром просыпаются двое, отец и сын. Они шепчутся тихо.

— Когда наступала северо-западная армия, я ушел вместе с ней из Пскова. Запомни, —

губернатор Расторов убит, мертв, его нет, а я — ротмистр Тензигольский, Петр Андреевич. Запомни. — Что же, мать голодает, все по-прежнему на Новинском у Плеваки? — А ты, ты — в чеке работаешь, чекист?

— Тише... Нет, не в чеке, брось об этом. Мать — ничего, не голодает. О тебе не имели сведений два года.

— Ты что же, — большевик?

— Брось об этом говорить, папа. Сестра Ольга с мужем ушла через Румынию, — не слыхал, где она?

— Оля, — дочка?.. — о, господи!

Пятьсот лет публичному дому — конечно, культура, почти мистика. Шопот тих. Свет — мутен. Два человека лежат на перине, голова к голове. Четыре галчонка воспаленных глаз, должно быть, умерли — —

Ночь. И в «Черном Вороне», в тридцать девятом номере — тоже двое: Лоллий Львович Кронидов и князь Павел Павлович Трубецкой. В «Черном Вороне» тихо. Оркестр внизу перестал обнажаться, только воют балтийские ветры, седые, должно быть. Лоллий — в сером халатике, и из халата клинышком торчит лицо, с бородою — тоже клинышком. Князь исповедывается перед протопопом Аввакумом, князь рассказывает о Лизе Калитиной, о парижских фотографиях, о каком-то конном заводе в России — —

...Где-то в России купеческий стоял дом — домовина — в замках, в заборах, в строгости, светил ночам — за плавающих и путешествующих — лампадами. Этот дом погиб в русскую революцию: сначала из него повезли сундуки

с барахлом (и вместе с барахлом ушли купцы в сюртуках до щиколоток), над домом повиснул красный флаг, и висли на воротах вывески — социального обеспечения, социальной культуры, чтоб предпоследним быть женотделу (отделу женщин то есть), — последним — казармам, и чтоб дому остаться, выкинутому в ненадобность, чтоб смолкнуть кладбищенски дому: дом раскорячился, лопнул, обалдел, все деревянное в доме сгорело для утепления, ворота ощерились сучьи, — дом таращился, как запаленная лошадь — —

— И нет: — это не дом в русской разрухе, — это душа Лоллия Львовича — в «Черном Вороне», ночью. — Но в запаленном, как лошадь, каменном доме — горит лампада:

— В великий пост в России — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручьи под ногами, — как в июне в росные рассветы в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце через закрытые веки) — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой. —

— Эта свечка: Лиза Калитина.

Ночь. Мрак. «Черный Ворон».

— Ты понимаешь, Лоллий, она ничего не сказала. Я коснулся ее, как чистоты, как молодости, как целому-

дрия; целуя ее, я прикасался ко всему прекрасному в мире. — Отец мне показал фотографии: и меня мучит, как я, нечистый, — нечистый! — посмел коснуться чистоты...

— Уйди, Павел. Я хочу побыть один. Я люблю Лизу. Господи, все гибнет... — Лоллий Львович был горек своей жизнью, он был фантаст, — он не замечал сотен одеял, воткнутых во все его окна, — и поднятый воротник — даже у пиджака — шанс, чтоб не заползла вошь. Но — он же умел: и книгам подмигивать, сидя над ними ночами, — книгам, которые хранили иной раз великолепные замшевые запахи барских рук — —

Ночь. Мрак. «Черный Ворон».

Ф и т а — —

В черном зале польской миссии, на Домберге, — темно. Там, внизу, в городе — проходит метель. В полях, в лесах над Балтикой, у взморий — еще воет снег, еще кружит снег, еще стонут сосны, — не разберешь: сирена ль кричит на маяке или ветер гудит, — или подлинные сирены встали со дна морского. Муть. Мгла. И из мути так показалось — над полями, над взморьем, как у Чехова черный монах, — лицо мистера Роберта Смита, как череп, — не разберешь: двадцать восемь или пятьдесят, или тысячелетие: на ресницы, на веки, на щеки — иней садится, как на мертвое: лицу ледянить коньяком — в морозе черепов и коньяк — пить из черепа, как когда-то Олеги. —

— В черном зале польской миссии темно. Полякам не простить — Россию: в смутные годы, смутью и мутью, — сходятся два народа делить неделимое. В Смутное время воевода Шеин бил поляков под Смоленском, и в новую Смуту в Россию приходили поляки к Смоленску. Не поделить неделимое

и — не найти той веревочки, которой связал Россию и Польшу — в смутах — чорт. В черной миссии — в черном зале в вышгороде — в креслах у камина сидят черные тени. О чем разговор?

В публичном доме, которому, как мистика культуры, пятьсот лет — танцует голая девушка, так же, как — в нахт-локалах — в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Риме, — тоже так же танцовали голые девушки под музыку голых скрипок, в электрических светах, в комфортабельности, в тесном круге крахмалов и сукон мужчин, под мотивы американских дикарей, ту-стэп, уан-стэп, джимми, фокстрот. Как собирательство марок с конвертов, промозглую дрожь одиночества таили в себе эти танцы, в крахмалах и сукнах мужчин, — недаром безмолвными танцами на асфальте улиц началась и кончилась германская революция, — чтоб к пяти часам во всей Европе бухнуть кафэ, где джимми, и где женщины томили, топились в узких рюмках с зеленым ликером, в плоти, в промозглости ощущений, — чтоб вновь разбухнуть кафэ и диле к девяти, — а в час за полночью, в ночных локалах, где женщины совсем обнажены, как Евы, в шампанском и ликерах, — чтоб мужчинам жечь сердца, как дикари с Кавказа жарят мясо на шашлычных прутьях, пачками, и сердца так же серы, как баранье шашлычное мясо, политое лимонным соком. Ночные диле были убраны под дуб, днем мог бы заседать в них парламент, но по стенам были стойльца и были диваны, как в будуарах, ярко горело электричество, — были шампанское, ликеры, коньяки, — в вазах на столах отмирали хризантемы, оркестранты, лакеи и гости-мужчины были во фраках, — и было так: голая женщина с подкрашенным лицом, с волосами, упавшими из-под диадемы на плечи, — матовы были соски, черной впадиной — лобок и чуть розовели колени и щиколотки, — женщина выходила на

середину, кланялась, — было лицо неподвижно, — и женщина начинала склоняться в фокстроте — голая — в голом ритме скрипок: голая женщина была, в сущности, в сукнах фраков мужчин. — —

— И

еще можно было видеть голых людей — так же — даже — и ночами. В Риме — Лондоне — Вене — Париже — Берлине — в полицей-президиумах — в моргах — лежали на цинковых столах мертвые голые люди, мужчины и женщины, дети и старики, — в особых комнатах на стенах были развешаны их фотографии. Все неопознанные, бездомные, нищие, без роду и племени, — убитые на проселках, за городскими рвами, на перекрестках у ферм, умершие на бульварах, в ночлежках, в развалинах замков, выкинутые морем и реками, — были здесь. Их было много, еженощно они менялись. — Это задворки европейской цивилизации и европейских государств, — задворки в тупик, в смерть, где не шутят, но где последнего даже нет успокоения, где одиноко промозгло, страшно, — нехорошо, — но, быть может, в этом тоже свой фокстрот и ужимки джимми? — неизвестно. Здесь социальная смерть. В морг итти слишком страшно, там пахнет человеческим трупом, запахом, непереносимым человеком, так же, как собаками — запах собачьего трупа,— там, во мраке бродят отсветы рожков с улиц, — в моргах рядами стоят столы, в моргах мороз, чтобы не тухнуло — медленно тухнуло — мясо. — Вот с фотографии смотрит на тебя человек, фотография выполнена прекрасно, глаза в ужасе вылезли из орбит, и он ими смотрит — в ужасе — на тебя: — глаза кажутся белыми с черной дырой зрачка, — так выполз белок из орбит. Вот — молодая женщина, у ней отрезана левая грудь, кусок груди — мяса — лежит рядом на цинке. Вот лежит юноша, и у юноши нет подбородка: там, где должен быть подбородок, — каша костей и мяса — и первого пушка усов и бороды. — Но фотографии воспроизводят не только морг, фотографии запечатлевают и место, и то, как и где нашли умерших. — Вот — в замочном, кирошном и ратушном городе — за стеной во рву лежит человек, головою в ров, ногами на шоссе; человек смотрит в небо, и на нем изодранный — пиджачишко, человек — бродяга. Почему у убиваемых всегда открыты глаза? — и не столкнешь уже взора мертвых с той точки, куда он устремлен. — Здесь социальные задворки государств, они пахнут тухлым мясом. — Ночь. Мороз. Нету метели. Пахнет запахом человеческого трупа, непереносимым человеком так же, как собаками — собачий трупный запах. Их много, этих голых мертвецов в Европе, их собирают, убирают, меняют ночами. Они тоже пляшут в этой своей череде уборок, про них никто не помнит, их никто не знает. — — Ах, какое промозглое, продроглое одиночество — человечески-собачье одиночество — испытывать, когда женщина, девушка, самое святое, самое необыкновенное, что есть в мире, несет бесстыдно напоказ сукнам мужчин с жареным шашлыком сердец, — когда она, женщина, девушка, должна — должна была бы притти к одному, избранному, — не ночью, а днем в голубоватом свете весенних полдней, в лесу, около сосен на траве. — Помните —

— —... В черном зале польской миссии — бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. За окнами— газовый фонарь, и газовые рожки бросают отсветы на колонны и на лепной потолок. В колонном зале — ночное совещание — враги: мистер Смит, министр Сарва, посол российский Старк — и хозяин — польский консул Пиотровский. Враги. И разговор их вне политики, — выше, — над — — Иль это только бред? — Колонный зал безлюден, — кресла спорят? — докладчик: Питирим Сорокин.

— Милостивые государи, — не забудьте, что в Европе восемь лет подряд была война. Шар земной велик: не сразу вспомнишь, где Сиам и Перу. В мире, кроме белой, есть желтая и черная человеческие расы. Последние две тысячи лет мир на хребте несла Европа, человеческая белая раса, одноженная мужская культура. Людей белой расы не так уже много. — Милостивые государи! война унесла тридцать три миллиона людей белой расы, — желтая и черная расы почти невредимы. Тридцать три миллиона — это больше, чем половина Франции, это половина Германии, это Сербия, Румыния и Бельгия вместе. Но это не главное: не главное, что вся Европа в могилах, что нету семьи, где не было бы крэпа, не главное, что мир пожелтел от войны, как европейцы пожелтели в преждевременной дряхлости, от страданий и недоедания. — Милостивые государи! — Равенство полов нарушилось, ибо война — мужской агрегат, и гибли мужчины, носители мужской европейской культуры — за счет одиночества, онанизма, проституции и иных половых извращений. Но война унесла в смерть самых здоровых, самых работных — и физически и духовно, — оставив жить человеческую слякоть, идиотов, преступников и шарлатанов, скрывавшихся от войны. Но война унесла, кроме самых лучших физически и духовно, и мозг народов; — это касается не только России, — Россия — страна катастрофическая; — Англия — богатая страна, — на тысячу населения в Англии два университетских человека, — едва ли после войны осталось на тысячу полчеловека: студенты Кембриджа — все пошли на войну офицерами — и к маю 1915 года живыми из них осталось лишь 20%. Европа обескровлена. Мозг ее высушен. Остались жить и плодиться: больные и калеки, старики, преступники, шарлатаны, безвольные трусы. Но это не все. «По векселям войны платят после нее», — это говорил

Франклин, и он был прав. Каковы семена, таковы и плоды, такова и жатва. Война уничтожает не только лучших, но и их потомство. Война унесла не только лучших, но вообще мужчин. Новые семена будут сеяться в дни развала семьи, половых извращений. Те мужчины, что вернулись с фронтов, навсегда понесут в себе разложение смерти. Где-то Наполеон сказал об убитых в сражении: «Одна ночь Парижа возместит все это». — Нет, Sir был не прав: тысяча ночей Парижа и Лондона, и Рима не возместят эту гибель лучших производителей, — количественное возмещение — это не значит еще качественное, а новый посев будет посевом «слякоти». — Милостивые государи! Вы все знаете старую истину, — что совершенство государственной организации, исторические ее судьбы — находятся в исключительной, в единственной зависимости от культуры, быта и особенностей народности этого государства: каков поп, таков и приход, — русский император Николай II в Англии должен был бы быть парламентским королем, а английский Георг VII стал бы в России деспотическим императором, — — восстановятся разрушенные фабрики, заводы, села и города, задымят трубы, — но человеческий состав будет окрашен человеческой слякотностью. — Милостивые государи! Мало нового под луной. В Европе много могил, если помнить историю Европы, — под Лондоном, Римом, Парижем гораздо больше человеческих костяков, чем живых людей, — но за две тысячи лет гегемонии Европы над миром, — впервые теперь центр мировой культуры ушел из Европы — в Америку и к желтым японцам. В Европе много кладбищ. В Европе не хватает моргов. Вы знаете об этом жутком помешательстве Европы на танцах дикарей. И еще надо сказать о России. Эстия, Латвия, Литва — отпали от России. Вместе с Россией они несли все тяготы, но у них нет советов, разрухи и голода, как в России, потому что

у них нет русской национальной души, русско-сектантского гипноза. Я констатирую факт. — —

В черном зале польской миссии бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. — И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова. В белом зале — серые тени, в белом зале пусто. За истопником идет уборщик. В печи горит огонь. Уборщик курит трубку, закуривая угольком, — и истопник закуривает сигаретку. Курят. Тихо говорят. — За окнами, под крепостной стеной внизу — ганзейский древний город, серый день, синий свет, — где-то там вдали, с востока, из России мутное восстает, невеселое солнце. —

— И в этот час, в рассвете, под Домбергом идут (— в те годы было много изгоев, и — просто русский наш, сероватый с у г л и н о к) офицеры русской армии из бараков, те, что не потеряли чести, — за город, к взморью, в лес — пилить дрова, лес валить, чтобы есть впроголодь. Впереди их идет с пилой Лоллий Кронидов, среди них много Серафимов Саровских и протопопов Аввакумов, тех, что не приняли русской мути и смуты. Они не знают, что они лягут костьми, бутом в той бути, которой бутится Россия, — они живут законом центростремительной силы. Благословенна скорбь! —

— Но в этот миг в Париже — еще полтора часа до рассвета, ибо земной шар — как шар, не всюду сразу освещен, — под Парижем, в Версали, шла страшная ночь. Нация французов, после наполеоновских войн понизилась в росте на несколько сантиметров, ибо Наполеон был неправ, говоря об «одной ночи Парижа» и — ибо после Наполеона осталась слякоть человеческая. — В эту ночь

еще с вечера потянулись толпы людей на метрополитенах, на автобусах, на таксомоторах, на трамваях и пешком: на такую-то площадь, у такой-то тюрьмы, у такого-то бульвара. Все кафэ были переполнены и не закрывались всю ночь. В три часа ночи толпа прогудела о том, что приехала гильотина. Гильотину стали безмолвно собирать у ворот тюрьмы, в пятнадцати шагах от ворот, против ворот, на площади, чтобы толпа могла видеть, как будут резать голову. Полиция все время просила толпу быть бесшумной, ибо тот, которому через час отрежут голову, — спал и должен был ничего не знать о приготовлениях к отрубанию головы. Казнь, по закону, должна была быть до рассвета. В тюрьме — в такой-то тюрьме, у такого-то начальника тюрьмы — прокурор, защитник, священник и прочие начальники томились от неурочного бездействия и пили глинтвейн, на минуту заходил палач, в черном сюртуке, в белых перчатках и белом галстуке. Имя палачу — такое-то. Имя палача — такое-то — было во всех газетах, вместе с его портретом. — А когда пришли к тому, которому должны были отрубить голову, он на самом деле спал. Прокурор разбудил его, коснувшись плеча.

— Проснитесь, Ландрю, — сказал прокурор и заговорил о законах Французской Республики.

Ландрю попросил уйти всех, пока он вымоется и переоденется. — Священнику он сказал, когда тот хотел его исповедывать, — что ему не надо посредников, тем паче, что он очень скоро будет у бога. Ландрю тщательно оделся, надел высокий крахмальный воротничок, выпил стакан кофе. Прокурор спросил, и Ландрю ответил, что он не считает себя виновным. Внизу в парикмахерской палач остриг Ландрю и тщательно обрезал ворот рубашки вместе с крахмальным воротником, обнажив шею:— концы галстука упали за жилет. Батюшка вторично

приступил к молитвам. Из парикмахерской было слышно, как морским прибоем гудит на площади толпа: в гул человеческих вскриков и слов врезывались бестолково гудки автомобилей. Но когда ворота открылись и вместе с прокурором, защитником, батюшкой и прочими палачами и сволочью Ландрю вышел к гильотине, к палачу, в белом галстуке, — толпа смолкла. —

Мерзко, знаете ли, братцы! —

Ф и т а.

Но эта фита не из русской абевеги.

В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих портах портились в тот год корабли за бездействием и бестоварьем. В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих городах, на складах, в холодильниках, в элеваторах, подвалах — хранились, лежали, торчали, сырели, сохли — ящики, бочки, рогожи, брезенты, хлопок, масло, мясо, чугун, сталь, каменный уголь. Сколько квадрильонов штук крыс в Европе?! — —

О б с т о я т е л ь с т в о п е р в о е.

«Гринок», судно Эдгара Смита, идет на полрумба к северу. Судно находится 70°45' северной широты. Льды, которые обязательно должны были бы быть здесь, не видны. Над волнующеюся свинцово-серою поверхностью нет уже никаких живых существ, кроме обыкновенных чаек, буревестников да изредка темных чаек-разбойников, которые бросаются на простых чаек, только что пойманных в воде рыбу. Морская тишь оглашается тогда жалобным криком обижаемой птицы. Весьма возможно, что, когда судно войдет во льды, лоцману посчастливится

высмотреть из обсервационной бочки белого медведя. К одиннадцати часам вечера светлело как днем. Телеграфист шлет радио. Динамо гудит все сильнее и сильнее, жалобные призывы уносятся с антенн в небесный простор, упорно повторяясь через ровные промежутки. Динамо останавливается, и телеграфист прислушивается к ответу. Югорский шар ответил, передали письма.

К часу пополуночи — синее небо, открытое море и полный штиль. Солнце начинает золотить небо и скоро появится над горизонтом. Море совсем покойно и кажется таким безбрежным, что в три часа «Гринок» меняет курс, повернув почти на норд-норд-ост, чтобы пройти Белый Остров. Твердо уверенный, что это удастся, капитан мистер Эдгар Смит, начальник экспедиции, пошел спать.

Но в шесть часов капитан Смит проснулся от толчка. Стало быть, опять лед. Оказывается, лед уже давно виднелся с севера, но теперь появился и впереди. Судно наткнулось на небольшую льдину, не повредив даже обшивки. Кругом полосами полз синий, как датский фарфор, туман, его уносил утренний восточный ветер. Все оказалось пустяками, и мистер Смит собирался уже вернуться в каюту. Но тогда прибежал полуодетый телеграфист с лицом, покрасневшим и побледневшим пятнами и с разбитой прической: от толчка провод сильного тока упал на изоляционные катушки, пробил изоляционные обмотки, и радио-аппарат был испорчен непоправимо. «Гринок» оказался отрезанным от мира. Небо на севере сильно бледнело, стало быть, там был сплошной лед. Солнце блистало так, что надо было надеть предохранительные очки.

Телеграфист озабоченно рассматривал погибшие катушки, поправить погибшее возможности не было. Динамо гудит все сильнее и сильнее, антенны выкидывают в небесный простор призывы — и безмолвно: судно и

люди на нем отрезаны от мира. Последнее радио было от матери мистера Смита, — мать, по обыкновению, благословляла сына и писала о том, что даже в канонной Шотландии разрушалась семья и земное счастье. Неоконченным, недопринятым было письмо брата, из Москвы.

«— Москва — это азиатский город, и только. Ощущения, которые вызывает она, аналогичны тем, которые остались у меня в памяти от Пекина. Но кроме этого здесь чрезвычайно тщательно сектантское — — —»

— и на этом оборвалось радио.

Капитан Смит, начальник экспедиции, спустился в салон. Стюарт готовил кофе. Пришли врач и лоцман. Телеграфист не явился. Лоцман сумрачно сообщил, что ему совершенно не нравится быть отрезанным от вселенной. Туман окончательно рассеялся. Кругом были ледяные поля. Весь день дул слабый бриз, сначала с северо-запада, потом с запада, затем снова с северо-запада. К вечеру ветер посвежел, и небо покрылось тучами. Течение попрежнему шло заметно к югу, но было слабо. Смит и врач играли в шахматы. Судно стояло. Лоцман занимался фотографией. Вечером стюарт особенно заботливо накрыл стол, раскупорил несколько бутылок рому. — К рассвету льды рассеялись. Капитан спал в своей каюте, его разбудили, и судно двинулось. Телеграфисту было поручено вести дневник.

Обстоятельство второе.

Мистер Роберт Смит — в России, в Москве, ночью. Мистер Смит с вечера перед сном сделал прогулку по городу, спустился по Тверской ко Кремлю, возвращался

улицей Герцена и затем прошел бульварным кольцом. И ночью, должно быть, перед рассветом, в пустынной своей большой комнате — он проснулся в липкой испарине, в страхе, в нехорошем одиночестве, в нехорошей какой-то промозглости. Это повторялось и раньше, когда, в старости уже, сердечные перебои кидали кровь к вискам, а сердце, руки и ноги немели. Сейчас же, проснувшись, Роберт Смит первой мыслью, первым ощущением осознал совершенно ясно, промозгло-одиноко, что он — умрет. Все останется, все будет жить, — а его дела, его страдания, его тело — исчезнут, сгниют, растворятся в ничто. Это осознание смерти было физически-ощутимым, и пот становился еще липче, ничего нельзя было сделать. Обезьяной вылезла другая мысль — та, что все же у него осталось еще пятнадцать, двадцать лет, и — вновь физическое ощущение — надо — надо сейчас же: делать, работать, не потерять ни минуты.

В окна сквозь гардины шел мутный свет. Роберт Смит вставил ноги в ночные туфли, у ночного столика налил воды в стакан. Заснуть возможности уже не было. В доме было безмолвно. Дверь в кабинет, под портьерой, была полуоткрыта, — из кабинета шла дверь в зимний сад с пальмами и фонтаном. Костлявое тело в пижаме волочилось беспомощно. Мистер Смит сел в кресло у окна, отодвинул гардину. По улице шли оборванцы Российской республики, женщины — одетые по-мужски, и мужчины в женском тряпье, прошли солдаты в остроконечных шапках, как средневековье. Мистер Смит прошел в зимний сад, фонтан плескался тихо, пальмы в углах сливались с мраком.

«Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства, шотландец, Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только как умирали три тысячи лет назад и будут умирать еще через три тысячи, а вот так,

как умирают сейчас, сию минуту — вот в этой страшной, невероятной стране, где людоедство». Учитель русского языка, господин Емельян Емельянович Разин, объяснил однажды, — что «с. с.» — два «с» с точками после них обозначают русское ругательство — сукин сын, сын самки-собаки: мистер Смит тогда разложил в уме свою фамилию, С-мит, — но мит, по-немецки, тоже «с», — и мистер Смит сказал сейчас вслух:

— Конечно, в смерти мы равны собакам.

В кабинете на столе лежал блок-нот дневника, — простыни на кровати остыли. Мистер Смит был в Китае, в Индии, в Сиаме, — и еще в Англии, перед отъездом в Россию, он прочел Олеария. На вокзале в Москве ему прочли объявление: — «Остерегайтесь воров». Кругом галдела толпа ненормальных людей, никто не шел, но все бежали. У мистера Смита вырезали бумажник (через неделю вор почтительнейше прислал документы). Костюмы мужчин и женщин были почти неотличимы, особенно когда мужчины подпоясывали пальто веревками, а женщины были в картузах, кожаных куртках и сапогах и в мужских брезентовых пальто; несколько женщин, из внутренней охраны, были с винтовками и в солдатских штанах; все же мужчин в юбках не было. Сейчас же за вокзалом, где толпились и ругались друг с другом кули, извозчики и ломовики, — был поистине азиатский базар: на столиках, на повозках, в палатках торговали жареной колбасой из конского мяса, кипели самовары и кофейники, жарились блины; тут же продавалась и мука в мешках, и куски ситца, и мыло, и сломанный велосипед; мальчишки сновали с пачками папирос и спичек; за столиками в ряд стояли стулья, на стульях сидели мужчины и цырюльники брили им усы и бороды, — когда стулья пустели, цырюльники зазывали желающих бриться специальными окриками; и, как во всех азиатских городах, — стоило

одному провопить громче, чем вопила вся толпа, или неподвижно уставиться взором в небо, — как около него возникала толпа сначала мальчишек, потом женщин и наконец мужчин: но тогда приходили мужчинообразные женщины или женообразные мужчины, и начинался митинг, где обсуждался Карл Маркс. — Мистеру Смиту тогда на вокзале не сразу подали автомобиль, — мимо него на носилках пронесли несколько десятков мертвецов, умерших от голода, тифов и убитых, снятых с поездов, найденных на складах, в цейхгаузах, в бараках. Потом автомобиль повез мистера Смита по истинно-азиатским улицам Москвы с несуразными палатками на углах и с коврами плакатов на стенах, по кривым переулкам и тупикам, со сбитыми мостовыми и тротуарами, с кривыми подворотнями, с пустырями, заросшими деревьями; со дворов веяло запахом человеческого навоза. Затем — за пустынными площадями — стал Кремль, единственный в мире по красоте. — По площади у театров солдаты вели русских священников, платье русских священников в неприкосновенности сохранилось от древних веков, и цырюльники убирали шевелюры священников так, чтобы они походили на бога-отца, изображаемого на русских иконах, или на Иисуса Христа. У древнейшей русской святыни, у иконы Иверской божьей матери, несмотря на революцию, толпились оборванцы, а напротив, на стене красного здания было высечено:

«Религия — опиум для народа».

Мистер Роберт Смит поселился в России, как англичане поселялись в Капштадте, Калькутте, Сирии, Дамаске. Россия для него была чужой страной, он был в ней, как в колонии. Мистер Смит поселился в особняке изгнанного из России фабриканта, он никогда раньше не жил так

роскошно, как теперь. Это объяснялось двумя причинами, — во-первых, курсовой разницею валют, благодаря которой жизнь в России была дешевейшей в Европе, и во-вторых — исконною особенностью России: Россия всегда была промышленно и политико-экономически дикой страной, неофициальной колонией сначала англосаксов, затем германского капитала; предприниматели в России могли строить себе особняки, как нигде в Европе — —

Соплеменники Роберта Смита, жившие с ним вместе, сплошь мужчины, проводили время, как всегда англосаксы в колониях, — по строжайшему английскому регламенту плюс все те необыкновенности, что дает колония. Вечерами они были всегда вместе, напиваясь коньяком и ликерами, часто на автомобиле уезжали в злачные места и тогда пропадали целые ночи, — изредка устраивали у себя вечеринки, с отменными яствами, и на эти вечеринки приглашались только русские женщины, чтобы можно было вспомнить древнюю Элладу.

Потом Роберт Смит увидел русский Кремль, русскую революцию. —

— Ложь? — Что, — ложь? — Во имя спасения? Нет. Во имя чего? — Во имя веры? — Да. Нет.

Где-то внизу, должно быть, на парадной лестнице, послышались шаги, — должно быть, лакея.

«Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства, шотландец, Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только, как умирали три тысячи лет назад и как будут умирать еще через три тысячи, — а вот так, как умирают сейчас в этой страшной, невероятной стране, где людоедство и где новая религия. Но ведь, если бы у Роберта Смита не было ушей, он не слышал бы ничего и был бы нем, если бы не было глаз — он ничего не видел бы, — если бы не было его — ничего бы не было — и ничего не будет тогда, когда не будет его. Цырюльники убирают шевелюры русских священников так, чтобы они походили на бога-отца, изображаемого на русских иконах, — но почему же на них похож и Карл Маркс, цитаты из которого на всех заборах в России — ?»

Лакей прошел в кабинет, бесшумно убирается.

— «История иногда меняет свою колесницу на иные повозки. Сейчас история впряглась в русскую телегу, древнейшую, как каменные бабы из русских поокских раскопок. Две тысячи лет назад тринадцать чудаков, причем один из них был сыном бога-отца, похожие на Карла Маркса, перекроили историю и человеческую культуру — не потому, конечно, что они несли новую правду, а потому, что их семена упали — на новую землю и: у них была воля творить, воля видеть — не видя. В Европе пели песнь о Роланде и песни нибелунгов, по Европе ходили и крестоносцы, и гугеноты, и табориты, — и шел на костер Ян Гус, — а теперь кафэ и диле заменяют бани, в танцах дикарей, и ломятся киношки в сериях из жизни негров и американских индейцев, — не случайно гуситствует Штейнер и лойольствует Шпенглер: телега, дроги истории поползли по корявым колеям и ухабам валютных и биржевых жульничеств, когда выгоднее было продавать и покупать вагоны теплых слов, чем создавать ценности, когда щетинились баррикады границ и виз, когда разваливались государства, религия, семья, труд, пол, — когда Европа походила на старую-старую суку английской породы, всю в лишаях. — —Тогда не было уже в Европе Турции, и единственная Азия оставалась — Россия. Пять с половиной веков назад в Галиполи впервые появились турки, и ислам через Балканы и венгерские равнины дошел до стен Вены, где он был отбит соединенными силами погибшей тогда Габсбургской империи и вновь воскресшей Польши. Турции нет в Европе. Много государств и народов погибло и воскресло вновь за эти пять с половиной

веков. В Анатолии, в Галиполи (где впервые появились турки) — умирали в тот год русские изгои. В тот год по Европе, как некогда в России, было много черт оседлости, — и русские изгои хорошо узнали, что значит быть евреем, а в Палестине вновь, после тысячелетий возникло еврейское государство. Глухо зачахли в те годы Армения, Сирия, Палестина, Аравия — — к чему бы?» —.

Англия!.. Последний раз он подъезжал к Лондону по Темзе — днем, в прилив. По Темзе они шли целый день, эти шестьдесят миль, и по обеим сторонам реки все эти шестьдесят миль был один сплошной завод, доки, корпуса, краны, трубы, корабли, катера, парусники, опять краны, доки, корпуса. Он знал, что половина заводов молчит, не дымит, рушится, что сотни тысяч рабочих не знали, куда деть свои руки. Он сошел с корабля где-то, где к самой воде подходили, пододвинулись огромные, глухие лабазы с железными воротами прямо в воду, — эти лабазы пропахли морем, солью, столетьями, копотью, каждый стоял, как крепость. Его повели лабиринтами и вывели в узенький закоулок, где не должно было быть солнца, а кольца, засовы, замки на безоконных домах говорили о пиратстве и средневековьи, — но он знал, что десять веков английской национальной цивилизации сдвинуты в Англии в одну плоскость, и четырнадцатый век — вот сегодня так же здравствует, как и двадцатый. Автомобиль выкинул мистера Смита на Стрэнд, на улицу реклам, цилиндров, лайнсов и ресторанов. Над домами, на крышах, на стенах, на сэркусах, — мчались, плясали, кружились огни всех цветов, всяческих скоростей: там извергался вулкан, очень угрожающе, потом он лопался, и из него возникали женские панталоны, лучшие в мире, — там с крыши стекала кровь огня, и из нее повисали соблазнительные слова «скотч-виски», — там танцовал джентльмен из огня с огненной тростью. По улице катились сотни тэкси, бэссов, карров, на углах люди сваливались в лифты андер-граундов, бэссы походили на разряженных слонов, тэкси — на цилиндр и на жучков-навозников. По тротуарам сплошной массой шла толпа цилиндров. На площади метались в воздухе живые акробаты, на углах у повозок с цветами играли музыканты, кто-то пел. На моменты захолаживала необыкновенная красота старины двух соборов на Стрэнде, здания судебных установлений в начале Флит-стрит, серых размытых дождями громад, сохранивших себя от средневековья — сохранивших средневековье теперешним дням... А потом автомобиль повернул в переулочек, где все дома точь-в- точь как один, серые, трехэтажные, в переулочке была тишина, точно он в глухой провинции и лег спать с семи часов, — и мистер Смит долго, неподвижно сидел в отельчике, в диккенсовской комнате, сохранившей свой быт не только от Диккенса, но и еще за двести лет до него, и за дверцей еще сохранился пудр-глозет, где раньше и теперь в торжественнейших случаях пудрили парики, чтоб не пылить всего жилья... Лакей китаец принес виски... Потом — под Темзой, под океанскими кораблями — в андер-граунде

мистер Смит мчал на Кенуэн-роад,
в кварталы клерков... — —
— Лондон!..

В Лондоне были улицы, которые нельзя перейти днем с одной стороны на другую, так они были запружены тэкси, бэссами и каррами, — и около Бэнка, в Тоттенгам-коорт-роада, на Пиккадилли-сэркус сделаны были проходы под землей, где пешеходы обходили улицу; у Чарингросса из-под земли и под землею шли движущиеся панели. Город работал огромной турбиной капиталов, воль, труда, смертей, сметок. Город орал телефонами, радио-телефонами, радио-станциями, радио-телефоны рассказывали сказки, сообщали о модах в Париже, имя лошади, пришедшей

первой к старту, давали концерты, сообщали политические и биржевые, биржевые новости... В Сити, в древнейшей части города, где когда-то была крепость и названья хранят ее память, — в Сити были закоулки, тупички, старина многовековая, камень и железо, церковки отодвинулись куда подальше, — по улицам, по тупичкам лавой шли черные пальто и цилиндры, — краны передавали тяжелые грузы по крышам. Вон дом, где под ним в подвалах хранилось все английское золото, — вон дом, в нем еще сохранилась круглая комната масонских заседаний, в нем сидело пятнадцать джентльменов, все как один, за счетами и счетными книгами, все было чинно и чопорно, как в монастыре, — это была контора крупнейшего синдиката, и какая-то четверть Австралии принадлежала ей, — вон еще меньше контора, там только пять человек, — но это их чайные грузы везли корабли по всему земному шару, и где-то в Индии, в Китае, на Ново-Зеландских островах индусы, китайцы, малайцы — их рабы на чайных плантациях... Вон тот домик слал по всему свету Библию и другие божественные книги... Сити — бывший хозяин капиталистического земного шара. Так вот, четверть шестого Сити — четверть шестого вечера — совершенно пуст, мертв, безмолвен, миллион людей бросался из него — тюбами, метрополитэнами, бэссами, каррами. Через полчаса половина этих людей, отпив файф-о-клок-ти, играла в тэннис, голф, крикет, футбол...

По костюму в Лондоне трудно отличить рабочего от клерка, клерка от капиталиста, все одеты одинаково, высокие, стройные, сухолицые, ловкие, все как один, все как — как жилые в Лондоне кварталы, — там все дома, как один, трехэтажные, с дверью наружу, и на двери от старины до сих пор обязательно висела колотушка, — и, если не знать номера дома, можно десятки раз быть в нем и не найти его. И в каждом доме, безразлично, у капиталиста, у клэрка, у рабочего, раньше был половина девятого утра брэк-фест, когда каждый англичанин ел порич, бекен и пил кофе с вареньем из апельсинных корок, — потом англичанин шел на свой бизнэс, но в час каждый англичанин сидел за линчем; потом он опять работал до пяти, до файф-о-клок-ти; потом до половины седьмого он занимался спортом, — половина седьмого он переодевался в инвинг-дрэс и приступал к торжественнейшему за день — к обеду, со всей семьей, нарядные, как в праздник, торжественные, как на Рождество; после обеда были — или Гайд-Парк с сиют-хартом, или кинематограф, или кружка стаута в публик-хаузе... Так вот жил многомиллионный город, хозяин полумира, сплошь из мышц, трижды в день евший полусырое мясо, — величайшая в мире провинция... А в четверть двенадцатого вечера — город пустел, совсем пустел, никого не было на улицах, все умирало на ночь, англичане ложились спать, и все должно было спать добродетельным сном, — ночной жизни в Лондоне, как вообще в Англии, не было.

Мистер Смит знал, — вся Англия, как Лондон, жила традициями, консерватизмом, обычаями. Четырнадцатый век выпирал не только из Вестминстэра, но и из каждого англичанина, с каждой улицы, — пусть этот четырнадцатый век колом заехал в ребро теперешних дней, все равно англичане сохранят этот клин. И мистер Смит знал, как иногда вдруг начинало казаться, что все англичане, вся Англия замирает, осклероживается, известняковится известниками Вестминстэра, — недаром в Англии все идет и приходит в Вестминстэр, — не случайно парламент в Англии вот уже восемь веков заседает в монастыре, в аббатстве, — не случайно на колонне Нэльсона высечено: «Соотечественники, собирайте деньги на борьбу с королем», — не случайно в Сити, рядом с конторой, правящей порядками в Индии, где англичане погоняли туземцев

резиновыми жгутами, где офицеры туземных войск должны встать пред великобританским солдатом и не смели подать ему руки, а в Лондоне в университете, когда русская девушка-студентка стала работать по химии в паре с индусом, ее вызвал профессор и спросил, как она, белолицая, осмелилась работать с желтокожим — так третировать свою кровь, — не случайно в Сити рядом с конторой, правящей порядками в Индии, контора миссионеров, рассылающих по миру Библию и прочие божественные книги...

Вестминстэр... Мистеру Смиту были очень памятны те дни, когда он бродил по его векам, — древнейшего, красивейшего, величественнейшего здания он не видел. Кружево каменных глыб, более легкое, чем кружево из полотна, шло из двенадцатого века к небу, ввысь: оно, серое, росло, старилось, строилось, высилось вместе с нацией англичан: оно, серое, — казалось, — собор построен из костей, и, когда подойдешь близко, видно, как столетья изъели камень, как вода, ветры, холоды источили известняки, как изъели какие-то черви, и тогда казалось, что эти камни сложены не человеком, не человечьими руками, или иначе — человек не может теперь создать такого памятника, потому что он не найдет у себя в помощниках — столетий. Внутри здания было полутемно, и свет падал сквозь цветные стекла вверху; там было пустынно и просторно; там мистер Смит стоял у могилы Ньютона: надгробная плита была вделана в пол, как все плиты пола — могилы, уже полустертые ногами проходивших, и плита могилы Ньютона тоже была стерта, — страшно было ступать на нее, и все же мистер Смит ступил, и было понятно, что Ньютон в здании английской культуры — только звенышко, как вон неподалеку могила однофамильца Адама Смита — тоже только звенышко английской — и европейской — культуры... Мистер Смит знал, что старина, отошедшее, памятники говорят — о смерти. Мистеру Смиту казалось, что Вестминстэр — из костей, окостянел, обызвестняковился. И он знал, что огромная, почти геологическая, нечеловечески-человеческая эпоха настилает, накрывает тех людей, которые живут — живут не около, а — под ней, — а вот англичане жили — с ней, в ней, она — их, они — ее. Но — если эти известняки английской цивилизации уподобить гигантскому какому-нибудь глетчеру — из-под него должны потечь ручьи. — Какие?..

— «Религия, семья, труд, пол». — Мистер Смит знал, как в тихой Шотландии — даже в тихой Шотландии в те годы перепряжек истории, когда мужчины шли, шли, шли убивать друг друга, разваливалась семья. Мужчине, европейцу, англичанину — бог уделил господство над миром, искание и труд — и каждому мужчине бог уделил еще — интимное, уютное, властное безвластие у сердца страшного зверя — женщины. — Уже совсем рассвело: раньше в России Олеги пили брагу из вражьих человечьих черепов. В полумраке Роберт Смит взглянул в зеркало, волосы сбились на лоб, лицо показалось лошадиным. Во рту, от недоспанного сна, ощутился привкус свинцовой горечи. — Смерть. Смерть. — И все же мистер Смит не поспешая принимал ванну, натягивал на повлажневшие костлявые ноги шелковые тугие кальсоны, тщательно заправлял рубашку с негнущеюся крахмаленой грудью, выбирал в гардеробе костюм, избрал черный и затягивал сзади у брюк хлястик, защелкивал пряжки у ботинок. — Лакей принес кофе, в необыденный ранний час. — Смерть. Смерть. —

Телеграммы:

— Миссис Смит, Эдинбург: — Мама, прошу Вас, встретьтесь с миссис Елисавет, она не виновна.

— Миссис Чудлей, Париж: — миссис Елисавет, встретьтесь с моей матерью.
— Мистеру Кингстон, Ливерпуль: — — —
— Индийский банк, Лондон: — — — —

Обстоятельство третье.

Мистер Роберт Смит получил воспитание такое же, как все англичане. В детстве — мать, мисс и церковь. Затем колледж в своем приходе, в Эдинбурге, голф, теннис, парусная лодка, кружевной воротничок и штаны до колен. Потом Оксфорд, динэр-жакет, бокс, футбол, виски, француженка — впервые и единственный раз до женитьбы. Затем годы путешествий, в Камеруне, в Австралии, в Сибири, — банки, онкольные счета и фунты — и где-то — никогда не видимые, но прекрасно знаемые и изученные — товары. Тогда — у себя в Эдинбурге, в коттедже у моря, — любовь. Она — Елисавет — хрупкая девушка в белом платье с волосами, как закат в тумане, и с глазами, как море в облачный день. В пять часов, когда он делал визиты, она разливала чай, они играли в тэннис. Он пригласил ее однажды поплыть с ним в море на боте, под парусом, — она отказалась испуганно, и он плавал в заливе один, всю ночь. Она стала его женой. Венчание было в двенадцать часов дня, в этот же день они уехали в замок, чтобы побыть несколько дней наедине перед поездкой в Италию, в Египет, — и в первую же ночь, в холодной огромной спальне, — она отдалась ему, сжав губы от боли и наблюдая не за ним, а за собой. Так Роберт Смит прожил год. — И тогда пришла война. Женщины на улицах одаряли мужчин белыми лентами, значащими, что этот мужчина добровольцем идет на фронт. Футбольными командами мужчины уезжали обучаться военному ремеслу. Мистер Роберт Смит поехал во Францию, рядовым, в одном из первых полков. —

Женщины в Англии... если на суде в Англии выступают свидетелями — одна женщина и два мужчины, и мужчины показывают одно, а женщина другое, судья должен верить женщине; когда женщина входит в трамвай, андерграунд, в зал, — все мужчины поднимаются, чтобы дать ей место, и пока женщина не сидит, мужчины стоят, и женщина кланяется первой, не подавая руки... женщины идут и приходят к Вестминстэру и от него, и словами: — «лэдис фёрст» — можно остановить коляску короля. Мистер Смит знал обычай Англии, — он знал, что англичанин может жениться только тогда, когда у него есть все для семьи, все, начиная с квартиры, кончая установленной обычаем дюжиной салфеток и дессертных вилок, — безразлично — кто этот англичанин, капиталист, рабочий, клэрк, — и они женились в тридцать, сорок, пятьдесят лет, когда собирали все до последней пижамы жене и до кочережки для камина у дедовского кресла, — и все должен был собрать мужчина, — женщина освобождалась от мирских забот... И этот обычай создал институт сюит-хардства: клэрк может сделать предложение девушке, она станет фактически его женой, и он уже не мог отказаться на ней жениться, за это его заклеймили бы и общество и суд; у них, у двух сюит-хартов, могли родиться дети, это не позорно, потом, когда будут собраны ложки, дети будут усыновлены... нно... но до тех пор, пока они не повенчались, он не может прийти к ней в дом и она не может прийти к нему, их сгонят с квартиры, — они вынуждены были встречаться вне дома, на улицах, в парках, в кинемо... Англия — консервативная, канонная страна, и мистер Смит знал, что в Англии нет проституции, не было,— и его не шокировали пары всюду, на траве, под зонтиком, обнявшиеся и нежно целующиеся, в кинематографах, в мюзик-холлах... Так изо дня в день, из года в год, пока не собирали всего, положенного обычаями, сюит-харты

встречались, шли в парк, любили, жили, собирали все для венца. Мистер Смит понимал, что здесь четырнадцатый век въехал в двадцатый, он отвергал «лицемерность» нации англичан и знал, что все пути ведут в Вестминстэр, — в одиннадцать часов вся Англия, как Лондон, засыпала благодетельным и добрым сном... —

Уезжая на фронт, мистер Смит ездил в Оксфорд проститься с ним...

— В Оксфорде — в древнейшем университетском городе, где сорок девять колледжей, — Роберт Смит пережил тогда строгую минуту гордости за человечество, за то, что он — человек и участник того огромного, что создало человечество. Перед вечером, после того как целый день он бродил по паркам колледжей, он поднялся на башню Кэмры, оксфордской библиотеки и музея. Туда он лез по круглой лестнице так же, как лазили здесь пятьсот лет назад; время шло к сумеркам, наверху, над городом, на средневековой башне было очень тихо, шум города сюда не доносился, — и тогда во всех сорока девяти башнях колледжей зазвонили куранты, — это было без четверти четыре, и эти без четверти четыре — мистеру Смиту не забыть: — ему совершенно ясно показалось, что он не в этих теперешних днях, он в пятнадцатом веке, — над городом, где глаз видел только средневековые башни и стены, неслась музыка точно такая же — фактически, — какой она была в тысяча четыреста восемьдесят пятом году, ровно за четыреста лет до рождения мистера Смита. Мистер Смит понял тогда, что у Англии слишком много позади, чтоб бодро смотреть вперед, если четыреста лет назад была такая музыка... И вечером мистер Смит сидел в ресторане, который назывался «Комната старого дуба,»

— там один он пил виски... —

— В Шампани, после недели пребывания в окопах, их роту отвели в тыл, на отдых. Их взвод расположился в сарае фермы. В те годы все европейцы — мужчины знали, что такое: окоп, с единственной, промозглой, затаенной мыслью-ощущением: — «не меня, не меня, не я — —». И все знали, что такое — отдых в тылу, когда весь мир — мой, и я — бесконечно. У германцев всех проституток мобилизовали на фронт, и солдаты на отдыхе получали от врачей ордера к проституткам. — Тогда был весенний вечер, весь в золотом закате солнца, взвод играл перед сараем в футбол, Роберт Смит писал письма, ему захотелось выпить вина, и он пошел на кухню, около фермерского домика. Ферма жила так, будто никакой войны не было. В кухне мыла посуду молодая девушка, работница, с тупым веснущатым лицом. Она улыбнулась мужчине, не умеющему говорить на родном ее языке, и принесла бутылку красного вина. Роберт Смит, совсем юный в военной форме, жестом предложил ей выпить, —

— она заулыбалась и принесла еще стакан. Вечером, когда уже стемнело, она прошла около сарая в виноградник и сейчас же вернулась оттуда, поднималась луна. Роберт Смит знал, что девушка прикрыла ставни у кухни и одна ушла туда. Роберт Смит сделал большой круг по винограднику, уйдя из сарая в противоположную сторону от кухни, и он оказался у кухни. Он постучал. Девушка что-то спросила из-за двери. Он постучал еще раз, тогда она отперла: она стояла в ночной рубашке, из грубого полотна, почему-то очень короткой, прикрыв грудь рукою. Он хотел только попросить вина, но на пороге вдруг блеснула под луной железка-скребка,— он сделал большой шаг и вошел в кухню. В кухне пахло свежим хлебом. Она, эта француженка-работница, оказалась девственницей, — когда Роберт Смит вновь отворил

дверь, он заметил, что в тени у кухни жмется солдат-француз, француз сейчас же за Смитом юркнул в дверь кухни. Утром девушку нашли в кухне мертвой, ночью был дождь, и пол кухни был затоптан грязными ногами, точно здесь прошел полк. —

— Роберт Смит, — знал ли тогда он, что «Мне отмщение, и Аз воздам», — что человеческий мир складывается — из человеческих единиц, только, — что есть вина разных культур, что европейской культуры, романо-германской, одноженной, — вино, и вино, и уксус, — однолюбность, а одна функция всегда — не может не влечь за собой другую? — Но однолюбность: есть всегда — созидание, порой горькое очень. — — Мистер Роберт Смит много женщин познал, многих национальностей, и молодых, и старых, и целомудренных, и извращенных, пока не узнал старенькой этой истины, — той, что человек самое ценное — и любовь: единственное — в этом мире. Другого же мира человеку — нет. —

— В Эдинбурге уходили мужчины на фронт. Несколько раз над тихими улочками Эдинбурга, в ночи, во мраке, летали цеппелины, тогда люди прятались по домам, а в небе ножницы прожекторов кроили темноту, и всем было нехорошо, одиноко и сиротливо. Потом открылись лазареты, и появились искалеченные на фронтах люди, жаждущие жить, и они были с большими деньгами, которых не жалели. На тихих улочках, вне центра города, где дома все, как один, появились кафэ и кабарэ, и кинематографы стали ломиться от посетителей, театры опустели. Появились гигантские, несуразные, беспокоящие плакаты о войне. — Миссис Смит — старуха — знала, что церкви пустеют, и еще она знала — старухи в квартале шептались озабоченно и испуганно — молодые женщины стали сестрами милосердия — девушки очень охотно уплывали в море на ботах под парусом — вон в том доме, напротив,

№ 27, девушка ходила к акушерке на street в другом конце города, — а в этом доме видели, как на рассвете из окна выпрыгнул офицер, у офицера рука была в белой повязке, кинематографы ломились от пар. — Миссис Смит — жена Роберта—стала сестрой милосердия; старуха не знала, что раз, в ночное дежурство, после обхода израненных мужчин, у молодой закружилась, закружилась голова, и в этот момент в комнату, в дежурку, где была она одна, вошел рыжий ирландец, замкнув дверь, как раз тот, которому она улыбнулась несколько раз вечером и которого она видела, однажды, во сне: — молодая тогда очнулась, разобралась в ощущениях только утром, она поразилась, как все это просто, и она другими, упрощенными, глазами увидела свет, мужчин, своих подруг, матерей. Над Эдинбургом летали — изредка — ночами немецкие цеппелины. — После года отсутствия, после контузии приехал муж, Роберт, — и в первую же ночь муж испугал жену, тогда еще наивную, тем, что он не мог уже удовлетвориться естественной страстью, и то, что он делал, показалось ей мерзостью; но когда муж уехал снова на фронт и у нее был любовник, на десятом свидании она захотела, чтоб любовник сделал с ней то же, что делал ее муж — —

— Потом было все, что нужно для того, чтоб они разошлись, чтоб жена миссис Смит вновь стала миссис Чудлей. Тогда уже взорвала Европу Россия русской революцией, и советская революция умирала в Венгрии. Германию карнали во имя революции и мозгового оскудения Версальского мира, мятежничала вновь и вновь Ирландия, вымирала Франция. — — Мистер Смит понял тогда, что значит «Мне отмщение, и Аз воздам», — но случилось так, как должно случиться: мир заслонил любовь, — и как часто случается: Роберт Смит не мог примириться с любовью к ушедшей жене. Она очень скоро применилась, она уехала в Париж.

Роберт Смит знал: —

— В великий пост в России — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручьи под ногами, — как в марте днем в суходолах в разбухшем суглинке, — как в июне в росные рассветы в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает, зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки, — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это есть мир, что сердце в руки взяла земля, — что ты связан с ее чистотой так же тесно, как сердце в руке, — что мир, земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как березовая горечь в июне) — одно: чистота, девушка, Лиза Калитина. — —

Миссис Смит знала: —

— Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком, — и, когда он идет по вожже к уздцам рысака, не желающего стоять, — они стоят на снежной пустынной поляне, — неверными, холодными руками она наливает коньяк, холодный как лед, от которого ноют зубы, и жгучий, как коньяк, — а губы холодны, неверны, очерствели в жестокой тишине мороза, и губы горьки, как то яблоко с пятнышком. А дома домовый пес-старик уже раскинул простыни и подлил воды в умывальник — —

Роберт Смит никогда не познал, никогда: — как — — Лиза Калитина, одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море: — здесь

под обрывом льды — там далеко свинец воды, — и там далеко над мутью и метели красный свет уходящей зари. Снежные струи бегут кругом, кружатся около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются. — «Это я, я». — Снег не комкается в руках, его нельзя смять, он рассыпается серебряной синей пылью — «Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю». —

Телеграф.

Телеграф — это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и в осени, — сиротливо, потому что — кто знает, что, о чем гудят они? — в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам: — —

Телеграф выкинул из России в Европу телеграммы — миссис Смит, миссис Чудлей, мистеру Кингстону. — —

Россия — Европа: два мира? —

В колонном зале польской миссии — на Домберге — парламент мнений. Древнюю Колывань осаждал когда-то Иван Грозный, — публичному дому тогда было уже полтораста лет. Здесь все, кто вне России, кто глядит в Россию. Свет черен — непонятно, ночь иль окна в черных шторах? Парламент мнений. Здесь все. Сорокин и Пильняк — не явились. У секретарского столика Емельян Развин и Лоллий Кронидов. Ротмистр Тензигольско-Саломатино-Расторов сел на окне, без шпаги. Рядом стала серая старушка — мать — миссис Смит. Генерал Калитин не может объясниться по-английски с мистером Кингстоном из Ливерпуля. Министр Сарва, посланник Старк сторонятся Ллойд-Джорджа. В зале нет миссис Чудлей. —

Иль это только бред, иль это только муть, туман, наваждение? — в зале только истопник, и кресла, и тишина — над мертвым городом, — а где-то там, во мгле лежит — Россия, — где с полей, суходолов, из лесов и болот — серое, страшное, непонятное, — что? —

...Докладчик, кто докладчик? —

— В зале нет миссис Чудлей —

— И Париж. Автобусы, такси, трамваи, мотоциклы, велосипедисты, цилиндры, котелки, женские шляпки. В Париже нет извозчиков. На углу, где скрещиваются две улицы, люди, как сор в воронку, проваливаются в колодцы метрополитэна. Гудит, блестит, — мчит город — в солнце, в лаке, в асфальте. Оказывается, женщин надо, как конфеты, из платья выворачивать. Дом там, против бульвара — весь в оборках жалюзи, — и миссис Чудлей, в прохладной тени, идет из одной комнаты в другую:—кружево, кружево, шелк, пеньюар— утро. В умывальнике, в ванной — горячая и холодная вода. Миссис Чудлей у зеркала — миссис Чудлей в зеркале, — и губы пунцовеют в кармине, бледнеют щеки и нос, а глаза как море в облачный день, и под глазами синяки, такие наивные, такие печальные. И плечи — чуть-чуть припудрены. Она знает, что женщину, как конфетку, надо из платья выворачивать. Она идет по комнате, ее мопс бежит за ней. Уже поздний час. Она знает: — как у нее, так у всех парижанок, у немок, у англичанок, — у всех или визитная карточка, или блок-нот (в черепаховой оправе), — и так легко добиться этой карточки, чтоб там был указан

час, и к этому часу, конечно, пусть это днем или ночью, в ванне — теплая вода, простыни и полотенца. В комнате за жалюзи — прохладно, и на улице — за жалюзи — котелки, цилиндры, лак ботинок. — Миссис Чудлей в белом платье, в белом пальто, с сумкой в руках. Лифт мягок, лифт скидывает вниз. На тротуарах, в жестяных пальмах — кафэ. За углом в переулке, где тихо, — парикмахер. Миссис Чудлей идет делать прическу, маникюр и педикюр. —

И вот —

— и вот, когда миссис Чудлей сидит в кресле, за стеной, где живет джентльмен-парикмахер, — плачет ребенок, мальчик девяти лет, мальчик плачет неистово. — В чем дело?— Мальчик потерял грифель от аспидной доски, и его завтра накажет розгами учитель в школе. — Потом, когда джентльмен-парикмахер склонялся у ног, мальчик неистово ворвался сюда и завертелся неистово, в счастии, — потому что он нашел грифель и его не будет бить педагог. Перед этим мальчик неистово плакал, его побили бы. —

— Миссис Чудлей идет по бульвару, в кафэ, — ее джентльмен, с тростью в руках, уже был утром на бирже, он в курсе, как пляшут доллары, фунты и франки, он уже потрудился. Ах, должно быть, должно быть, она даст ему свою визитную карточку. — Он бодр, он весел, он шутит, — но он немного устал. Он говорит: — «Pardon, madame», — и заходит в писсуар, от удовольствия он бьет тросточкой по стене. Она идет медленнее. В кафэ

пустынно. День. — Ну-да, в пять часов разбухнут кафэ от кавалеров и дам, и будут острить, что костюм дам состоит — из кавалера впереди и из ничего сзади: это совсем не потому, отчего в России и мужчины и женщины ходят кругом голые. И тогда из пригородов, из подворотен казарм, с фабричных дворов — выйдут — пойдут — черные блузники — и где-то соберутся еретики, фантасты и отступники— поэты и художники. — В этот день миссис Чудлей принесли телеграмму — —

— Ну, вот миссис Чудлей не было в колонном зале польской миссии, — но неистовый плач того мальчика, ребенка, которого будет драть педагог за утерянный грифель, — этот плач был в этом зале. Детский неистовый плач стал рядом с миссис Смит, около ротмистра-губернатора Тензигольского. Поэты, художники, еретики и блузники пришли потом. — В тот год — в те годы — не знали еще в Европе, что это пришло: кризис или крах — или нарождение нового? — В Ливерпуле в порту толпились корабли, титаники, дредноуты, над мутной водою, в нефти — в порту — с каменных глыб набережных свисали гигантские грузоподъемные краны, горами валялся уголь, лежали бочки, хлопок под брезентами, высились нефтяные баки, каре кварталов элеваторов, складов и холодильников замыкали порт кругом. Кругом все было в саже, в дыму, в каменноугольной пыли, звенели и дребезжали лебедки, вагонетки-вагончики, вагоны, гудели паровозы и катера, гонимые человеческой волей. — Там дальше был город контор, банков, фирм, магазинов. Здесь толпилась толпа— людей всех человеческих национальностей, — туда в город контор автомобили, трамваи и автобусы увозили только тех, кто был в цилиндрах, котелках и крахмалах. —

В элеваторах, складах и холодильниках, должно быть, конечно, было много крыс. — И в конторе мистера Кингстона, как во многих конторах Королевского банка, знали — вот — что, не о крысах: —

— В тот год — в те годы — никто не знал, что пришло в Европу: — гибель, смерть или рождение нового. Но мистер Кингстон, как многие, кто научился читать цифры, знал — — Впервые за две тысячи лет гегемония над миром ушла из Европы. Уже прошли годы человеческих бойнь, но народы, как звери, зализывая болячки, жили военными поселениями, глухо готовясь к новым и новым войнам. Вся Европа, и победители, и побежденные, страны, которые грабят, и которых грабят, — вышли из войны — побежденными. Во всех странах, у всех народов пустели университеты, вымирала интеллигенция — мозг народов, пылились, разваливались, разветривались музеи, картины и книгохранилища, — народами управляли солдат, мудрый, как казарменная вахта, и шибер, энергичный, как кинематограф, полагавший, что вся промышленность и экономическая жизнь народов — есть только: биржа и жульничество на высоких и низких валютах: не поэтому ль в Англии, Франции, Италии — не дымились домны, заводы и фабрики — и заливались водой каменноугольные, железорудные шахты, извечно черные и пыльные, и одни за другими, сотни, тысячи, лопались, банкротились — фирмы, торговые конторы, банки, предприятия, — а рабочие, десятки, сотни тысяч, миллионы, — безработные — люмпен-пролетариат — шли в больших городах от одной профессиональной конторы к другой фабричной конторе, в штрейкбрехерстве, — ночуя неизвестно где, потому что вот уже много лет ничего не строилось в Европе, и в одной Англии необходима была постройка миллиона домов, — не потому ли тогда ощетинились нации баррикадами виз и таможен, и даже

Англия, великий торговец, изменив столетию своего фритредерства, построила заборы таможен — для побежденного врага, Германии, которая нонсенсом затуманила смысл побед и Версалей и за Версалем оставила одно лишь — разбойничество — — ? Тогда говорили в Европе, что это промышленный экономический кризис. — И, хотя государства грозились заборами таможен, как баррикадами, все же были люди, которые видели гибель Европы в уничтожении международного братства, и тогда учинялись Канны, Генуя, — и там фельдфебеля хотели учинить новый Версаль, — и эти глядели на Россию — в Россию, чтоб утвердить равновесие мира — новой колонией. Но государства еще жили и властвовали, как на войне, разъединяя, кормя и — властвуя: тогда многие в Европе научились знать, как достается хлеб, — но многие и многие поля в те годы были засеяны — не пшеницей, а картечью,— об этом хорошо знал европейский крестьянин, мужик, — и многие и многие те, для которых не хватало моргов, разучились есть хлеб: ведь едали же в Лондоне и Берлине дохлых лошадей и собачину. И хозяйственный кризис все рос и рос, все новые останавливались заводы, все новые рушились фирмы, все новые товары оказывались ненужными миру — медь, олово, хлопок, резина, — и новые миллионы людей шли — в морги. Но киношки, но кафэ, диле и нахт-локалы были полны, женщины всегда имели визитные карточки. — И эти глядели на Россию — в Россию, чтоб утвердить равновесие мира: колониальной политикой. —

— Но в Европе были и еретики, и безумцы, и поэты, и художники, которые — — —

— Но Европа мала; — Европа, кошкой изогнувшаяся на земном шаре, где старая кошка нюхает молоко Гибралтара,

где Пиренейский полуостров — голова, а нога — Апеннинский полуостров —

— и гегемония над миром ушла из Европы, с Атлантики — к Тихому океану: —

— В Америке сытно, обутно и одетно, в Соединенных Штатах на каждых десять человек — автомобиль, и половина мирового золота там, и доллар чуть ли не выше своего паритета, и тоннаж — в четверть мирового тоннажа, догоняет Англию. В Японии дымят заводы, снуют основы и челноки, и японскому флоту — ближе до Австралии, чем английскому. В Китае, который спал шесть тысяч лет, — полезли китайцы под землю за каменным углем, за залежами железных, оловянных, медных руд, — в Китае загорелись домны. — В Австралии теперь — свои заводы. — Тихий океан — он же Великий — Аргентина, Боливия, Перу — краснокожие, желтолицые, негры — — но Европа — Европа — —

— Докладчик мистер Кингстон сходит с кафедры. В черном зале польской миссии темно. Иль это бред и подлинен один лишь детский — горький плач? — Мистера Кингстона сменяет другой докладчик, Иван Бунин, — иль это только бред, поэма, метель над Домбергом — ? — Корабль мирно идет из Америки в Европу. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий», Апокалипсис. — Это эпиграф — —

— «... почти до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно и даже без качки, пассажиров на

пароходе оказалось много. И все люди крупные, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на самый дорогой европейский отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала по самому высшему регламенту: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку: до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодною свежестью океана, или играть в шеффль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газеты и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху: все палубы заставлены были тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким, душистым чаем с печеньями; в семь оповещали трубным сигналом об обеде из девяти блюд... По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке как бы

огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных складах с особенной лихорадочностью. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека, чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появляющегося на-люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в огромной двухсветной зале, отделанной мрамором и устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями хрустальных люстр и золоченых жиронделей, переполненной декольтированными дамами в бриллиантах и мужчинами в смокингах, стройными лакеями и почтительными метр-д-отелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр... Обед длился целых два часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, задрав ноги, решали на основании последних политических и биржевых новостей судьбы народов и до малиновой красноты лица накуривались гаванскими сигарами... — Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях... — в смертной тоске стенала удушаемая туманом

сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке — — —».

...Мистер Смит знал Англию, страну канонов, где все пути ведут в Вестминстэр и где в Лондоне ложились спать, оставляя бодрствовать с фонариками полисмэнов, в одиннадцать часов вечера. Если английская цивилизация — как глетчер, что должно потечь из-под него? — И мистер Смит знал многие ручьи, те, что размывают известняки Англии... — Он знал о страшном одном проценте: — в Англии, на острове Великая Британия, жило тридцать миллионов человечьих душ, работников, стариков, женщин и детей, — и два миллиона человечьих душ, четыре миллиона здоровых человечьих рук — не знали, куда себя деть, — два миллиона на тридцать — один человек на четырнадцать, — один здоровый — на четырнадцать женщин, стариков, детей, калек, — один здоровый — на пять других здоровых, — один безработный — на пять работающих. Англия — канонная страна, она ложилась спать в одиннадцать часов, там не было нищих, — и эти безработные в канонном Лондоне, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, рисовали на асфальте картинки, плясали на углах, пели песни, торговали спичками, подсаживали в бэссы, — потому что — «нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет», поистине; им нечего было есть, и много кошек, собак и лошадей — съели — они; им негде было спать, и многие гранитные плиты под Вестминстэром, в Имбенкменде, в Уайт-Чапле, в Вест-Инде помнили ночлежников, тех, что покрывались своими пиджаками и спали в воротничках (ведь там никто не ходил без воротничков), под худой английской крышей неба, — их. — —Это они продавали цветочки на углах, гвоздики, розы, хризантемы... это они акробатничали на площадях, это они играли на шарманках: около Вестминстэра... — — Это —один

ручей из-под глетчера английской цивилизации. И — другой, — не надо было далеко итти от Вестминстэра, — надо было от него и от Темзы по улице министерств подняться до Трафальгер-сквера (где на колонне Нэльсону высечено: «Соотечественники, собирайте деньги на борьбу с королем»), свернуть на Стрэнд, там зайти в кормер-хауз, — и это здесь; это называется «пошлость», — здесь сидит шибер, нуво-риш, он может в с е, он очень подвижен, у него десяток говорящих телефонов, у него друзья на всех биржах, он сидит за столиком и от избытка энергии ковыряет в зубе и подрыгивает — совсем не по-английски — тугой ляжкой, его национальность стерта, он немного боится полиции, и у него есть свой «свет», — поэтому он почти незаметно переписывается с барышней, подающей кофе, он убеждает ее быть его сюит-хартом и поехать с ним куда-нибудь подальше на вик-энд, и она — убеждена; он недоволен, что газеты начинаются с передовой, а не с биржи, точно биржа не решающая все передовая; это ему по его вкусу играл оркестр облетевшего всю Европу одесско-константипольского «Алешу-ша» из Одессы-мамы; он вечером пойдет в мюзик-холл, он завтра полетит «на пару часов» в Париж... Он не был в Вестминстэре и не знает, что в нем заседает парламент, он читает «Тарзана» и ждет одиннадцати часов, когда закроется кормер-хауз и он поведет — самая веселая часть суток — продавщицу к себе во флат... — — Над Лондоном, над Англией — часты туманы. Что видно в туманах? — вернется ли к Вестминстэру Англия? — —

Телеграф.

Телеграф: это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и осенями, — сиротливо, потому что — кто знает, что, о чем

гудят они? — в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам. — —В Эдинбурге у матери Смит в пять часов был подан чай, блестел сервиз, скатерть, полы, филодендроны, — в Париже у миссис Чудлей разогревалась ванна, чтоб женщину, как конфетку, из платья выворачивать, — и тогда велосипедисты привезли телеграммы.

— «Мистер Роберт Смит убит
в Москве» — —

Ф и т а.

Но в Европе ведь были еретики, безумцы, поэты и художники, которые — — В Европе гуситствовал Штейнер и лойольствовал Шпенглер — — В Ливерпуле, Манчестере, Лондоне, Гавре, Париже, Брюсселе, Берлине, Вене, Риме, — в пригородах, на фабричных дворах, из подворотен, в дыму, копоти и грязи, на рудниках, шахтах и заводах, в портах, — в элеваторах, — поди много крыс! рабочие, безработные, их матери, жены и дети — правой рукой — сплошной мозолью, выкинутой к небу, и обожженными глотками —

— и с ними еретики, безумцы, поэты и художники —

— вчера, третьего дня, завтра — ночами, восходами, веснами, зимами, осенями — в туманы, в непогодь и благословенными днями — одиночками, толпами, тысячами,— обожженными глотками, винтовками, пистолетами, пушками —

— кричали:

— Т р е т и й
И н т е р н а ц и о н а л! —

В черной зале польской миссии — бред. Маленький мальчик горько плачет в польской миссии, потому что он

потерял грифель и педагог будет его бить. Лиза Калитина — в польской миссии. Метель в польской миссии. Но вот идут еретики, поэты, художники, безумцы, рабочие, все, для кого морги. Ротмистр Тензигольский — обветрен многими ветрами,— Ллойд-Джордж — вместе с Тензигольским — расстрелян. Бред — ерунда — глупость — вымысел. В черном зале польской миссии бродят тени, мрак, ночь. Мороз. Нету метели.— И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова. —

В Москве, с Николаевского вокзала — из колонии, имя которой Россия, — уходил вагон за границу, в метрополию, он должен был дойти до порта Таллиена. Он должен был уйти в 5.10, но ушел в 1.50, — это по-российски. На вокзале, ибо в эти часы не было поездов, было пустынно. В вагоне ехали эсты. Русские понимали по-эстонски только два слова: куррат: — чорт, и якуллен: — слушаю; слушали друг друга — и русские носильщики с усмешкой; и эстонские курьеры дипломатически вежливо — «якуллен», — но не понимали. Уборная в вагоне обозначалась по-эстонски, что не изменяло, конечно, ее назначения, как это бывало в России. Вагон грузили ящиками в пломбах, похожими на гроба, которые именовались дипломатическими пакетами. Потом, вместе с людьми, запломбировали вагон. Ночью вагон ушел. Ночью было холодно в вагоне. — Во всем вагоне оказалось пять человек, причем двое из них — русские, — впрочем, был еще шестой: в одном из дипломатических пакетов находился труп Роберта Смита. Ночью в вагоне на дипломатических гробах горели свечи. Стены вагона, деревянные, были крашены серым, вагон был невелик, окна были замазаны известью, при остановках и толчках в дипломатических пакетах перекатывались бутылки, все пятеро были в енотовых шубах, пахло нафталином и сардинками, — и вагон

походил на общую каюту третьего класса внизу, в трюме, плохонького морского пароходика: бутылки из-под шампанского, которые перекатывались в дипломатических гробах, напоминали звон рулевых цепей, и как в трюмах — в окнах ничего не было видно. Так заграница подперла к самой Москве, так уходил вагон из колонии, утром и весь день ничего из вагона не было видно: окна были хорошо закрашены. Двое русских все же успели за ночь обжить свое купэ и свои гроба — окурками, бумажками и разговорами по-душам. Вечером в вагоне запахло трупным удушьем — от трупа Роберта Смита.

Если ехать первый раз в жизни, — в годы Великой Мировой разрухи — переехать русскую границу, где ломаются два мира, — не просто. И вагон переезжал границу ночью. В Ямбурге, на русской границе, все пошли с чемоданчиками в таможенную будку, — и ночь была такая, как и должно ей быть на границе, где контрабанда и иные темные дела: на шпалах, на рельсах, на деревьях мылилась луна, и казалось, что луна — едва слышно — звенит в одиночестве, — и у таможенной избы, сшитой из фанеры, окна были замазаны известью, смотрела,— мазала известь на стеклах — луна. Было четыре часа ночи. — Потом опять вернулись в вагоны, поезд тронулся, и через полчаса пришли уже другие пограничники, в нерусской форме, — они поздравляли с приездом в Европу. В сущности, это было очень нище. Так пришел вагон из колонии в Европу, — еноты не прятались: — кто знает, сколько было вывезено из колонии платины, камней, картин, икон? — вместе с дипломатической почтой — ?

Так выбыл из России — запечатанный в дипломатическом пакете — мистер Роберт Смит.

И другой поезд вполз в Россию, чтоб сщемить сердце каждого русского, —

— чтобы услышать дубасы в вагоны, шум, гам и вой, крики и вопли мешочников и мешков в матершине, чтоб хлестнуть по носам всероссийским запахом триметиламина, аммиака и пота, — чтоб никак не объяснить американцу про недезинфицированный башмак и никак не понять, когда день, когда ночь, когда что: —

— Но над Россией — весна, великий пост, — когда ветрено, ручейно, солнечно, облачно и когда бухнет полднями сердце, как суглинок, — когда хрустнет хрусталь печали, как льдинка под ногой, — и поют когда мужики русские песни, тоскливые, как русские века: ветер потрошит души русских, как бабы потрошат кур, — и все же ветрено, ручейно, облачно и солнечно по весне в России.

1) В поезде был вагон детских сосков, закупленных за границей российским внешторгом: впоследствии выяснилось, что вместо сосков оказалась в вагоне: другая резина.

2) В Себеже, что ли, в Великих Луках, или где-то еще: — баба кричала истошно: «Дунькя, Дунькя-а, — гуртуйси здеся!»— И с воем мчались по базару мешочники. В Себеже, что ли, или в Великих Луках, по шпалам ходил стрелочник, переводил стрелки рельс; на голове у него была шляпа, за поясом две палочки красного и зеленого флагов, а у пояса в котомке — две книги, — Евангелие и Азбука Коммунизма, — на ногах у него, по-весеннему, ничего не было; звали стрелочника Семенов. Семенов ходил по шпалам, — мешочники уже умчались, ибо поезд ушел. Семенов вынул тогда из котомки Азбуку Коммунизма и стал зубрить, как вызубрил некогда Евангелие, — Азбуку же Коммунизма зубрил к тому, чтобы примирить Азбуку с Евангелием, ибо находил в этом великую необходимость для души.

3) В Себеже, что ли, или в Великих Луках, — на базаре за станцией, в базарный день, стоял с возом степеннейший русский мужик, продавал восемь пудов ржи. Мимо шли рысцой покупатели и продавцы. Как соловьи в майскую ночь, оглашали базар удивлением миру — громчайшим визгом — поросята, — и вопил базар очень громко — в синее небо, соборной толпою. К мужику подошел человек.

— Что продаешь?

— Рожь продаем мы, обмениваем, значит. Деньги нам, значит, не надо — обклеивать избу.

— Так. А почем?

— Мы не на деньги — обклеивать избу. Керасинчику нам бы...

— А на что тебе керосин? Для свету?

— Керосин нам для свету, — чтобы морду не расшибить, значит, в потемках, либо к скотине выйтить, а то — бойся.

Обыватель сказал мужику:

— У нас теперь електризация произошла. — Горит сколько тебе хошь — без керосину, — и опять пожару не может быть — не жгет. Лампа такая стеклянная, вроде груши, и проволока в ей, а от ей идет другая проволока в загогулинку на стене. Хошь, продам?

— А не вре?

Мужик поехал к человеку, посмотреть электричество. Воз на дворе оставил, вошли в дом. Человек объяснил:

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот шнурок. Видишь: я конец шнурка, штепсель, втыкаю в стену, в эту вот загогулину. Видишь: теперь я на подставке поворачиваю крантик и — горит.

Действительно, засветило. Мужик охнул, посмотрел, потрогал, понюхал.

— И без керосину, значит? А какая же в ем сила?

— Сила в ем от земли.

— О!

— Теперь. Видишь: крантик этот я заворачиваю, — не горит. Вынимаю штепсель из загогулины, иду в кухню, там втыкаю в загогулину, поворачиваю и — горит, как твоих двадцать лампов. — И желаю я за все, за лампу, за подставку и за загогулину — восемь пудов ржи. Дешевле никак нельзя.

Мужик заторговался, — поставили самовар, — столковались на семи, свешали, поменялись из полы в полу. Честь-честью. — «А загогулину тогда к стенке гвоздиком приколотишь, что ли».

Мужик приехал домой к вечеру, в избу вошел гоголем. Сказал бабам:

— Грунька, сбегай к Авдотье, а ты, Марья, к Андрею, — чтобы пришли скореича, значит. Еще кого позовите.

Народ пришел. Мужик, молча, осмотрел всех, — отодвинул локтем сынишку от стола. Топором, двумя гвоздиками — приколотил к стене загогулину. Сказал:

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот — снурок. Видишь: я конец снурка, стесель, втыкаю в стену, в эту вот загогулину. Видишь: теперь я на подставке поворачиваю крантик и — —

Ничего не загорелось. — —

—?— Постой. Погоди —?— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот — снурок. — Видишь: я конец снурка, стесель —

Ничего не загорелось. — —

4) Человек же в городе шесть пудов ржи спрятал под кровать, а седьмой пуд сменял на самогон — у самогонщика-трезвенника стрелочника Семенова. К вечеру он лежал за базаром, за железнодорожной линией в канаве, —

пуговица у его штанов лопнула, он дрыгал ногами и говорил:

— Пусти, ос-тавь... Не трожь, т-това-рищ. Не замай. — Он немного молчал, потом начинал вновь: — Отвяжись, ч-чорт, п-пусти ноги... ос-ставь, ты — нне — гарни-турься. —

Наконец одна штанина свалилась с ноги. Он почувствовал облегчение: — «Аа, пустил, дьяволюга!» — перевалился со спины на живот, пополз на четвереньках, затем встал на ноги, упал. Шагов через пятнадцать свалилась и вторая штанина. Тогда пошел тверже. — —

5) И еще где-то в другом конце России, и тремя месяцами раньше: — в том помещичьем доме, где когда-то справляли помещичьи, декабрьские ночи — —

— Знаемо было, что кругом ходят волки, и луна поднималась к полночи, и там на морозе безмолвствовала пустынная, суходольная, — непомещичья — советская ночь —

— В доме много было, и коммуна, и трудармейские части, и комсомол, и совхоз, и детская колония, дом как следует покряхтел.

— — В том помещьичем доме организован был здравотделом дом отдыха. В честь открытия дома устроен был бал и ужин. Все было отлично сервировано. И вот на балу, за ужином — украдены были со стола тарелки, ложки и вилки, а из танцовального зала украли даже несколько стульев, — хоть и присутствовал всем синклитом на балу исполком. — —

6) И последнее, о людоедстве в России. Это рассказал Всеволод Иванов — «Полой (почему — не белой?) Арапией». Еще три месяца скинуты со счетов, — в третьем углу России. —

— Всеволод Иванов рассказал, как сначала побежали крысы, миллионы крыс: «деревья росли из крыс, из крыс начиналось солнце». Крысы шли через поля, деревни, села. «Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце». «Тучными животами выпячивались тучи. Оголоданные земли. От неба до земли худоребрый ветер. От неба до земли жидкая голодная пыль»... «Крысы все бежали и бежали на юг». Тогда крыс начали бить, чтобы есть. Их били камнями, палками, давили колесами телег. «К вечеру нагребли полтелеги». Заночевали в поле. «Наевшись, Надька сварила еще котелок и отправила с ним Сеньку к матери, в деревню.' Вернулся он утром, — подавая котелок, сказал:

«— Мамка ешшо просила» —

Крысы шли через поля, деревни, села. На деревне, в избе крысы отъели у ребенка нос и руку. «За писком бежавших крыс не было слышно плача матери». Потом пришел сельский председатель: пощупал отгрызенную у ребенка руку, закрыл ребенка тряпицей и, присаживаясь на лавку, сказал:

«— Надо протокол. Може, вы сами съели. Сполкому сказано — обо всех таких случаях доносить в принадлежность.

«Оглядел высокого, едва подтянутого мясом, Мирона. —

«— Ишь, какой отъелся. Може, он и съел. Моя обязанность — не верить. Опять, зачем крысе человека исть?» —

Потом побежали люди. «Жирное, объевшееся вставало солнце. Тучными животами выпячивались тучи. — От неба до земли худоребрый ветер». — И была еще — тишина. Надька— «плоская, с зеленоватой кожей, с гнойными, вывернутыми ресницами» — говорила Мирону:

«— Ты, Мирон, не кажись. Очумел мужик, особливо ночью — согрешат, убьют... Ты худей лучше, худей.

«— Не могу я худеть, — хрипел Мирон. — Раз у меня кость такая. Виноват я? Раз худеть не могу. Я и то ем меньше, чтобы не попрекали. Омман один это, вода — не тело. Ты щупай.

«— И то омман, разве такие телеса бывали. Я помню. А ведь не поверют — прирежут, не кажись лучше». —

Вскоре, когда пошли, все лошади передохли: «Кожу с хомутов съели».

«Раз Надька свернула с дороги и под песком нашла полузасохшую кучу конского кала. Сцарапнула пальцем полузасохшую корку, позвала Егора:

«— С овсом... Иди. —

«Ночью Мирону пригрезился урожай. Желтый густой колос бежал под рукой, не давался в пальцы. Но вдруг колос ощетинился розоватыми усиками и пополз к горлу... — Здесь Мирон проснулся и почувствовал, что его ноги ощупывают: от икр к пахам и обратно. Он дернул ногой и крикнул:

«— Кто здесь?

«Зазвенел песок. Кто-то отошел. Проснулась Надька.

«— Брюхо давит,

«— Щупают... Мясо щупают.

«— Умру... Мне с конского... давит. В брюхе-то, как кирпичи с каменки каленые... И тошнит. Рвать не рвет, а тошнит комом в глотке. Тогда закопай.

«— Вырoют».

Надька умерла. — Перед смертью Надька молила: — «Хлебушко-то тепленький на зубах липнет, а язык-то. Дай, Мироша, ей-богу не скажу. Только вот на один зубок, хмм, хи... кусочек. А потом помру, и не скажу все равно.

«Деревня поднялась, двинулась.

«— Схоронишь? — спросил Фаддей, уходя.— Поодаль на земле сидел Егорка, узкоголовый, отставив тонкую губу под жестким желтым зубом.

«— Иди, — сказал ему Мирон. — Я схороню. — Егорка мотнул плечами, пошевелил рукой кол под коленом.

«Сказал:

«— Я... сам... Не трожь... Сам, говорю... Я на ней жениться хотел... Я схороню... Ступай. Иди.

«У кустов, как голодные собаки, сидели кругом мальчишки.

«Егорка махнул колом над головой и крикнул:

«— Пшли... ощерились... пшли.

«Пока он отвертывался, Мирон сунул руку к Надьке за пазуху, нащупал там на теле какой-то жесткий маленький кусочек, выдернул и хотел спрятать в карман. Егорка увидел и, топоча колом, подошел ближе.

«— Бросай, Мирон, тебе говорю... Бросай... Мое...

«Егорка махнул колом над головой Мирона. Тот отошел и бросил потемневший маленький крестик.

«Егорка колом подкинул его к своим ногам.

«— Уходи... мое... я схороню... — в лицо не смотрел, пальцы цепко лежали на узловатом колу.

«Мирон пошел, не оглядываясь. Мальчишки, отбегая, кричали:

«— Сожрет! — —

«Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце. Тучными животами выпячивались тучи. — Огненные земли. От неба до земли худоребрый ветер».— —

Заключение второе.

ОТКРЫТА

Уездным отделом наробраза вполне оборудованная

— — БАНЯ — —

(бывшее духовное училище в саду)
для общественного пользования с пропускной способностью на 500 чел. в 8-час. рабочий день:

Расписание бань:

Понедельник — детские дома города (бесплатно).
Вторник, пятница, суббота — мужские бани.
Среда, четверг — женские бани.

Плата за мытье:

для взрослых — 50 коп. зол.
для детей — 25 коп. зол.

УОТНАРОБРАЗ.

Сроки: Великий пост восьмого года Мировой Войны и гибели Европейской культуры — и шестой великий пост Великой Русской Революции, — или иначе: март, весна, ледолом —

Место: место действия — Россия.

Герои: героев нет.

Пять лет русской революции, в России, Емельян Емельянович Разин прожил в тесном городе, на тесной улице, в тесном доме, где окно было заткнуто одеялом, где сырость наплодила на стенах географические карты невероятных материков и где железные трубы от печурок были подзорными трубами в вечность. Пять лет русской революции были для Емельяна Разина сплошной, моргасной, бесщельной, безметельной зимой. Емельян Емельянович Разин был: и Лоллием Львовичем Кронидово-Тензигольско-Калитиным, — и Иваном Александровичем, по прозвищу Калистратычем. — Потом Емельян Емельянович увидел метель: зубу, вырванному из челюсти, не стать снова в челюсть. Емельян Емельянович Разин узрел метель, — он по-иному увидел прежние годы: Емельян Емельянович умел просиживать ночи над книгами, чтоб подмигивать им, — он был секретарем уотнаробраза, — он умел — графически — доказывать, что закон надо обходить. —

— И вот он вспомнил, что в России вымерли книги, журналы и

газеты, — замолкли, перевелись, как мамонты, писатели, те, которым надо было подмигивать, — потом писатели, книги, журналы и газеты народились в Париже, Берлине, Константинополе, Пекине, Нью-Йорке,— и это было неверно: в России стало больше газет, чем было до революции: в Можае, в Коломне, в Краснококшайске, в Пугачеве, в Ленинске, в каждом уездном городе, где есть печатный станок, на желтой, синей, зеленой бумагах, на оберточной, на афишной, даже на обоях, — а в волостях рукописные— были газеты, где не писатели — неизвестно кто — все — миллионы — писали о революции, о новой правде, о Красной армии, о трудовой армии, об исполкомах, советах, земотделах, отнаробах, завупрах, о посевкомах, профобрах, — где в каждой газетине были стихи о воле, земле и труде. Каждая газетина — миллионы газет — была куском поэзии, творимой неизвестно кем: в газетах писали все, кроме спецов-писателей, — крестьяне, рабочие, красноармейцы, гимназисты, студенты, комсомольцы, учителя, агрономы, врачи, сапожники, слесаря, конторщики, девушки, бабы, старухи. Каждая газета — пестрая, зеленая, желтая, синяя, серая на обоях — все равно была красная, как ком крови. — В России заглохли университеты. — И в каждой Коломне, Верее, Рузе, в каждом Пугачеве, Краснококшайске, Зарайске — в каждой волости — во всей России — в домах купцов, в старых клубах и банкирских конторах, в помещичьих усадьбах, в волисполкомах, в сельских школах — в каждой — в каждом — было — были: политпросветы, наробразы, пролеткульты, сексоцкультуры, культпросветы, комсомолы, школы грамотности и политграмотности, театральные, музыкальные, живописные, литературные студии, клубы, театры, дома просвещения, избы-читальни, — где десятки тысяч людей, юноши и девушки, девки и парни, красноармейцы, бабы, старики, слесаря, учителя, агрономы — учили, учились,

творчествовали, читали, писали, играли, устраивали спектакли, концерты, митинги, танцульки. Емельян Емельянович был секретарем наробраза: он видел, увидел, как родятся новые люди, мимо него проходили Иваны, Антоны, Сергеи, Марьи, Лизаветы, Катерины, они отрывались от сохи, от сошного быта, они учились, в головах их была величайшая неразбериха, где Карл Маркс женился на Лондоне, — почти все Иваны исчезли в Красную армию бить белогвардейцев, редкая Марья не ходила в больницу просить об аборте; выживали из Иванов и Марьев те, кто были сильны, Иваны проходили через комсомолы, советы и Красную армию,— Марьи— через женотделы,— и потом, когда Иваны и Марьи появлялись вновь после плаваний и путешествий по миру и шли снова на землю (велика тяга к земле) — это были новые, джек-лондоновские люди. —

— Емельян Разин увидел метель в России, — и прежние пять лет России он увидел,— не сплошною, моргасной и бесщельной, безметельной зимой, — а — метелью в ночи, в огнях, как свеча Яблочкова. — Но над Россией, когда вновь его вкинуло после Неаполя в старую челюсть тесного города, — над Россией шла весна, доходил великий пост, дули ветры, шли облака, текли ручьи, бухнуло полднями солнце, как суглинок в суходолах. — — И Емельян Разин увидел, как убога, как безмерно-нища Россия, — он услышал все дубасы российские и увидел одеяло в окне, — он увидел, что жена его еще донашивает малицу: — он не мог простить миру стоптанные башмаки его жены. Не всякому дано видеть, и ныне, кто видит, — безумеют — —

— Этот тесный город, куда приехал Разин, был рядом с Москвой, он не считался голодным. Дом напротив, как запаленная лошадь, из которого давно уже ушли вместе с барахлом купцы, — за зиму потерял крышу. Направо и налево,

через один дом в двух не ели хлеба и жили на картошке. Через дом слева жил паспортист с женой и дочерью-гимназисткой, который был паспортистом и при монархии, и при республике. Дочь-гимназистку звали Лизой, ей было пятнадцать лет, шел шестнадцатый год, она была как все гимназистки. А рядом в доме, в подвале, жил «сапожник Козлов из Москвы» — Иван Александрович, по прозвищу Калистратыч, — жил много лет с женой Дашей-поломойкой, детьми, шпандырем и самогонкой; на лоб, как подобает, он надевал ремешок, и было ему за сорок: ну, так вот, Калистратыч, не прогоняя даже жены, взял себе в любовницы Лизу, за хлеб, за полтора, что ли, пуда; Даша-поломойка раза два таскала всенародно Лизу за косы, тогда Калистратыч таскал — тоже всенародно — Дашу-поломойку, а мальчишки с улицы кидали во всех троих камнями. — Через дом справа жил телефонный надсмотрщик Калистрат Иванович Александров с женой, четырьмя детьми и матерью; Калистрат Иванович получал паек и запирал паек на ключ, ничего не давая семье; сынишка — тоже электротехник, должно быть, — подделал ключ. Калистрат Иванович прогнал всех из дома и потребовал от жены браслетку, которую подарил женихом; жена из дома не пошла, а позвала милицию; Калистрат Иванович показал милиции, что семья его живет воровством; жена показала, что Калистрат Иванович ворует электрические катушки с телеграфа; дети показали, что отец не кормит их и каждую ночь истязает мать и жену; милиция рассудила мудро: ворованное отобрала, а им сказала, что — до первого разу, если кто из них еще пожалуется, тогда всех в холодную до суда и дела. — Кругом все — друг друга — друг у друга — обворовывали, обманывали, подсиживали, предавали, продавали. Приходила весна, и город был в сущности деревней безлошадных: все закоулки, пустыри, ограды вскапывались

руками, все балдели в посевах капусты, свеклы, моркови — все изнемогали и завидовали друг другу, чтоб потом — по осени — приступить к поголовнейшему обворовыванию соседских огородов, друг друга. — Была весна, когда вернулся в город Емельян Емельянович, — он единственный в городе ездил за границу, он привез себе всяких нарядов: пальто, башмаки, пиджаки, — и к нему приходила торговка с базара, разыскала его, спросила:

— Ты, касатик, в немецкую сторону ездил? — ничего, привез? не отбирают? одежа там почем? Видишь, я к тебе с делом каким: как туда съездить, касатик? — я бы съездила, купила на обмен; как там заградиловки — ничего, проехать можно? — я ситчику купила б и мужу на одежу. Как туда ехать, — ничего? — с вокзала-то какого? — —

— Емельян Емельянович Разин не выставлял окон в доме, в доме пахло зимой, аммиаком и копотью, и мухи жужжали, как в банке. Емельян Емельянович увидел метель, — Емельян Емельянович физически не мог переносить стоптанных башмаков жены, — и для него очевиднейшим были уже те книги, над которыми он мог подмигивать раньше Лоллием Львовичем и которые хранили замшевые запахи барских рук. —

— И Емельян Разин — метеленкой — в одну ночь — как сумасшедший собрался и бежал из этого городка — куда глаза глядят — к чорту — от метели.—

— Он оказался в Москве, на Средней Пресне, вместе с женой.

Заключение третье. — Фита предпоследняя.

По Европе и по Азии уже столетия как ходили индийские фокусники, гипнотизеры, — индийские маги и иоги. В России они чаще всего назывались Бен-Саидами. Они,

Бен-Саиды, маги, глотали огонь, прокалывали себя иглами, жгли, у них на глазах у зрителей одна рука вырастала раза по полтора больше, чем вторая, на них клали двадцатипудовые камни и били камни молотками так, что летели из камней искры, — они, Бен-Саиды, усыпляли желающих из зрителей, и эти усыпленные, загипнотизированные выполняли во сне все, что вздумается почтенным зрителям: старухи пели и плясали, девушки каялись в грехах, — но Бен-Саид продолжал сеанс уже дальше, просил публику дать вещь или загадать, что должен сделать загипнотизированный, и спящий, причем этого не знал даже и иог, делал то, что заказывали почтенные зрители. Эти индийские маги и иоги, Бен-Саиды в России — всегда были нищи, они выступали в передвижных цирках, в палатках, в пожарных депо, передвигаясь из одного города и местечка до другого — с двумя-тремя своими помощниками и несчастной женой, убежавшей от отца-буржуа, — редко в третьем классе поезда и часто пешком, по большакам. Но каждый раз, когда зрители после сеанса расходились по домам, в ночь, — многим из зрителей бывало одиноко от того непонятного и сверхъестественного, что есть в мире. —

— Мистер Роберт Смит, который научился уже читать по-русски, прочел афишу на заборе, в Москве.

ТАЙНЫ ИНДИЙСКОЙ МАГИИ РАСКРОЕТ ИНДИЙСКИЙ ИОГ БЕН-САИД — В СВОИХ СЕАНСАХ —

Мистер Смит пошел на этот сеанс. С ним вместе пошел Емельян Емельянович Разин, его учитель. В цирке было очень много народа. На арене стоял человек в сюртуке и лаковых ботинках, на столе около него горела керосинка и лежали снадобья, рядом со столом горел костер, лежали молотки и двадцатипудовый камень, в лесенку были вставлены ножи, по которым Бен-Саид должен ходить, в ящике валялось битое стекло. Бен-Саид сказал вступительное слово, где приветствовал советскую власть, борющуюся с мраком и косностью, сообщил, — что он, Бен-Сиад, совсем не Бен-Саид и не индус, — а крестьянин Самарской губернии, Пугачевского уезда, трудовой сын республики и никогда в Индии не был, что он сейчас покажет опыты индийской магии и докажет, что это совсем не какая-либо таинственная сила, а только фокус, ловкость рук, тренировка и выносливость, — что раньше магией пользовались сильные мира, чтоб закабалять в темноте народ. Бен-Саид и доказал многое из этого на деле, как глотать огонь, есть раскаленное железо, ходить по гвоздям, быть наковальней в «адской кузнице», — но он, самарский сын трудовой республики, окончательно запутался в объяснении гипнотизма, хоть и гипнотизировал направо и налево, десятком, разохотившихся девиц. На этом сеанс и закончился, чтоб повториться завтра на площади, на Смоленском рынке, — чтоб рассеять мрак в народе.

Емельян Емельянович Разин был переводчиком мистера Смита. У подъезда цирка их ожидал автомобиль. Они поехали. Емельян Емельянович не покидал мистера Роберта Смита. Емельян Емельянович в своем европейском костюме, в круглых роговых очках был очень странен, он казался трансформатором, его коричневый костюм походил на ларчик, и думалось, что Емельян Емельянович может каждую минуту спрятать голову в воротник пиджака, за манишку, чтобы квакнуть оттуда по-лягушечьи. У подъезда дома мистера Смита, мистер Смит хотел было распрощаться с Емельяном Емельяновичем, — но этот позвонил первым и первым вошел в парадное. Лакей включил

только одну лампочку, лестница, идущая к зимнему саду, едва осветилась. Мистер Смит попросил принести виски. Это была решающая ночь в жизни Роберта Смита. Разговор был незначителен. Мистер Смит чувствовал себя устало. Сельтерская была тепла.

Разговор велся о пустяках, и только четыре отрывка разговора следует отметить. Говорили о России и власти советов. Мистер Смит, изучавший русский язык, в комбинации слов — власть советов — нашел филологический, словесный нонсенс: совет — значит пожелание, чаще хорошее, когда один другому советует поступить так, а не иначе, желает ему добра; советовать — это даже не приказывать, — и, стало быть, «власть советов» — есть «власть пожеланий», нонсенс. — Емельян Емельянович походил на лягушку в своих очках, он был очень неспокоен. —Он высказал мысль о том, что исторические эпохи меняются, что сейчас человечество переживает эпоху перелома, и перелом, главным образом, духовной культуры, морали; люди старой эпохи, и он в том числе, должны погибнуть, но они — имеют же человеческое право дожить свой век попрежнему и доживут его, конечно. Емельян Емельянович рассказал, что у его знакомого, бывшего генерала, сохранилась княжеская коллекция порнографических открыток, которая продается. Мистер Смит отказался от покупки. Затем, перед самым уходом, Емельян Емельянович рассказывал о быте, нравах и этнографических особенностях русских крестьян, — о том, что сейчас, весной, крестьянские девушки и парни, ночами на обрывах у рек и в лесах, устраивают игрища, моления языческим богам, как тысячу лет назад, — и он, Емельян Емельянович, пригласил мистера Смита завтра поехать за город посмотреть эти игрища, — Роберт Смит согласился. — Сейчас же после этого разговора Емельян Емельянович заспешил и ушел, спрятав голову в грудь пиджака. Мистер Смит сам

отпер ему парадное, — была ясная апрельская ночь, уже за полночь, над домом напротив светил месяц, в последней четверти. Шаги Емельяна Емельяновича мелким эхом заглохли в проулке. Обыденный час сна прошел, и мистер Смит почувствовал, что ему не хочется спать, что он очень бодр, что ему надо пройтись перед сном. Мистер Смит прошел проулками, улицей Герцена — древней Никитской — к Кремлю. Улицы были пустынны, пахло навозом и весенней прелью, был едва приметный мороз. Звезды были четки и белы. Меркнул месяц в очень синем небе. Из-за деревьев Александровского сада Кремль выглянул русской Азией, глыбой, оставшейся от древности. От Кутафьи-башни мистер Смит пошел Александровским садом, у Боровицких ворот заметил двух всадников в шапках как шлемы, один сидел на лошади, другой стоял опираясь на луку, лошади были маленькие и мшистые, сторожевые в шлемах, с пиками и винтовками — громоздки, — и опять подумал о русском древневековьи. Тоскливо перекликались ночные сторожевые свистки. Мистер Смит повернул обратно, шел переулками. Пели на дворах, в переулках петухи и лаяли собаки по-весеннему гулко и заунывно, как в Константинополе. Дом, где жил мистер Смит, безмолвствовал. Мистер Смит прошел в кабинет, свет месяца падал на стол и ковры, — и тогда Роберт Смит вдруг — не понял, а почувствовал, — что ключ к пониманию России и Революции Русской — и к миру — найден. Показалось, что иог Бен-Саид вошел в кабинет, и он, иог, крестьянин Самарской губернии, объяснивший тайны черной магии, как глотать огонь, ходить по гвоздям, отрезать себе палец, быть наковальней, — и не объяснивший тайн гипнотизма, — иог Бен-Саид в сюртуке и лаковых ботинках — и был ключом.

Мистер Смит записал в дневник, — с тем, чтоб записи эти потом обработать и послать в письме к брату: —

«Сегодня я был на русском народном цирке. Завтра я поеду с мистером Разиным за город в лес смотреть народные русские игрища. — Вот что такое Россия, коротко: — Разрушены семья, мораль, религия, труд, классовое сознание всех групп туземного населения, ибо борьба за существование, голодная смерть (а голодала вся Россия без исключения) — вне морали и заставляли быть аморальными. Производительность труда пала так, что производство единицы товара, равной, положим, по ценности грамму золота, обходится две единицы этого товара, то есть два грамма золота; — и это вызвало взяточничество, воровство, обман, деморализацию нации, деклассирование общественных групп и катастрофическое обнищание страны, доведенное до людоедства. Надо не забывать, что Россия все годы революции вела жесточайшую гражданскую войну во всех концах государства. Все это примеры, которые не исчерпывают быта России, но которые являются факторами быта. — Казалось бы, нация, государство — погибли. Но вот еще один факт: ложь в России: я беру газеты (их не так мало, если принять во внимание те газеты, которые выходят в каждом уездном исполкоме) и книги, и первое, что в них поражает — это игра отвлеченными, не существующими в России понятиями — и я говорил с общественными деятелями, с буржуа, с рабочими — они тоже не видят и лгут: ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что

это? — массовый психоз, болезнь, слепота? Эта ложь кажется мне явлением положительным. Я много думал о воле видеть и ставил ее в порядке воли хотеть: оказывается, есть иная воля — воля не видеть, когда воля хотеть противоставляется воле видеть. Россия живет волей хотеть и волей не видеть; эту ложь я считаю глубоко положительным явлением, единственным в мире. Вопреки всему, наперекор всему, в крепостном праве, в людоедстве, в невероятных податях, в труде, который ведет всех к смерти, — не видя их, сектантская, подвижническая, азиатская Россия, изнывая в голоде, бунтах, людоедстве, смуте, разрухе — кричит миру, и Кремлем, и всеми своими лесами, степями и реками, областями, губерниями, уездами и волостями — о чем кричит миру Россия, что хочет Россия? Сейчас я проходил мимо Кремля. Кремль всегда молчалив, ночами он утопает во мраке: русский Кремль стоит несколько столетий; сейчас же за Москвой, в десяти верстах от нее, за горами Воробьев и за Рогожской заставой, начинаются леса, полные волков, лосей и медведей; за стеной в Кремле были люди, уверовавшие в Третий Интернационал, а у ворот стояли два сторожевых, в костюмах как древние скифы, — тот народ, который в большинстве неграмотен. Сегодня в цирке иог показывал, как делаются индийские фокусы, как они д е л а ю т с я, — он единственный в России — не лгал. Это решает все. Кто знает? две тысячи лет назад тринадцать чудаков из Иерусалима перекроили мир. Конечно, этому были и этические и экономические предпосылки — —

Я изучаю русский язык, и я открыл словесный нонсенс, имеющий исторический смысл: власть советов — власть пожеланий. В новой России женщина идет рядом с мужчиной, во всех делах, женщина... — —»

В колониях можно было жить, отступая от житейского регламента. Мистер Смит не кончил записей в дневник, ибо у подъезда загудел автомобиль, потом второй. По лестнице к зимнему саду зашумели шаги. В дикой колонии, имя которой Россия, все же были прекрасные женщины, европейски-шикарные и азиатски-необузданные и особенно очаровательные еще тем, что с ними не надо, нельзя было говорить, из-за разности языков. В кабинет мистера Смита вошли его соотечественник и две русские дамы.

— Мы сегодня веселимся, — сказал соотечественник, — мы были в ресторане, там познакомились с компанией очаровательных дам и с новыми нашими спутницами ездили за город, к Владимирской губернии, — там в лесу водятся волки, мы пили коньяк. Вас не было дома. Сейчас мы будем встречать русский рассвет, — соотечественник понизил голос, — одна из этих дам принадлежит вам.

В концертном салоне заиграли на пианино. В ночной тишине было слышно, как в маленькой столовой накрывали стол. Англичане провели дам в уборную, пошли переодеваться. Женщин, конечно, как конфеты, можно выворачивать из платья. Старик лакей заботливо занавешивал окна, чтоб никто не видел с улицы, что делают колонизаторы. Было приказано никого не пускать — —

Мистер Смит заснул уже на рассвете. Снов он не видел. Только перед тем, как проснуться, ему пригрезилась та страшная ночь, — та, когда он встретился в дверях спальни жены с братом своим Эдгаром.

Емельян Емельянович заходил утром к мистеру Смиту. Его не пустили. Он зашел через час и оставил записку, что заедет перед поездом. Дома эту ночь Емельян Емельянович не ночевал: сейчас же от мистера Смита он пошел на вокзал и ездил на Прозоровскую, рассвет там провел в лесу, — оттуда вернулся как раз к тому часу, когда заходил в первый раз утром. Перед поездом мистер Смит распорядился, чтоб подали автомобиль, но Емельян Емельянович настоял, чтоб пошли пешком; потом они наняли извозчика. На Прозоровскую они приехали, когда уже темнело. Дорогой — несколько раз — случайно — Емельян Емельянович спрашивал, захватил ли мистер бумажник. От полустанка они пошли мимо дач, лесной просекой, вышли на пустыри, в поле, за которым был лес. Мистер Смит шел впереди, высокий, в черном пальто, в кэпи. Было немного прохладно, и у обоих были подняты воротники. Уже совсем стемнело. Шли они без дороги, и, когда подходили к лесу, Емельян Емельянович выстрелил сзади, из револьвера, в затылок Роберту Смиту. — Через час после убийства Емельян Емельянович был на квартире мистера Смита, в Москве, где спрашивал, дома ли мистер Смит, — и оставил ему записку, в которой сожалел о неудавшейся поездке.

Через два дня агенты русского уголовного розыска арестовали гражданина Разина, он был увезен. Через месяц на суде, где судили бандитов, Разин говорил в последнем своем слове:

— Я прошу меня расстрелять. Я все равно мертв. Я убил человека, потому что он был богат, а я не мог — физически, органически не мог видеть стоптанных ботинок жены. Я, должно быть, болен: весь мир, все, русская революция, отовсюду, от столов, из-под нар, из волчка, на меня глядит черный кружок дула ружья, тысячи,

миллионы, миллиарды дул — на меня, отовсюду. Я все равно мертв.

Гражданин Разин был расстрелян. — —

— — Фиты из русской абевеги — нет, не может быть. Есть абевеги без фиты. Емельян Емельянович Разин — был мистером Смитом — но и ижицы — нет. Я кончаю повесть.

Б о г о м а т ь.

Я, Пильняк, помню день, выпавший мне в дни писания этой повести, весной, в России, в Коломне, у Николына-Посадьях, — и помню мои мысли в тот день. Сейчас я думаю о том, что эти мысли мои неисторичны, неверны: это ключ, отпирающий романтику в истории, позволивший мне крикнуть:

— Место — места действия нет. Россия, Европа, мир, братство.

— Герои — героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверие, культура, метели, грозы, образ богоматери. — —

1) К соседям приехал из голодной стороны, — год тому назад она называлась хлебородной, — дворник. На Пасху он ходил в валенках, и ноги у него были как у опоенной лошади. Дворник был, как дворник: был очень молчалив, сидел, как подобает, на лавочке около дома и грелся на солнце, вместо того чтобы подметать улицу. Никто на него, само собою, не обращал внимания, только сосед раза два жаловался, что он темнеет, когда видит хлеб, мяса не ест совершенно, а картошки съедает количество невероятное. И вот он, дворник, третьего дня — завыл, и вчера его отвезли в сумасшедший дом: дворник

пришел здесь, у нас, в какое-то нормальное, человеческое состояние и вспомнил, рассказал, что он — съел — там в хлебородной — свою жену.

Вот и все. Это голод.

О голоде говорить нечестно, бесстыдно, нехорошо. Голод — есть: го-лод, ужас, мерзость. Тот, кто пьет и жрет в свое удовольствие, конечно, участник, собутыльник, состольник того дворника, коий съел свою жену. Вся Россия вместе с голодной голодала, вся Россия стянула свои гашники, чтоб не ныло брюхо: недаром в России вместе с людоедством была — эпопея поэм нарождения нового, чертовщин, метелей, гроз, — в этих амплитудах та свеча Яблочкова, от которой рябило глаза миру.

2) Но в те дни я думал не об этом. Вот о чем.

Двести лет назад император Петр I, в дни, когда запад, северо-запад, Украина щетинились штыками шведов, на Донщине бунтовали казаки, в Заволжьи — калмыки, на Поволжьи — татары, — когда по России шли голод, смута и смерть, — когда надвое кололась Россия, — когда на русских, мордовских, татарских, калмыцких костях бутился Санкт-Питер-Бурх — в ободранной,нищей, вшивой России (Россия много уже столетий вшива и нища), в Парадизе своем — дал указ император Петр I, чтоб брали с церквей колокола и лили б из тех колоколов пушки, дабы бить ими — и шведов, и разруху, и темень российскую. —

Как ни ужасен был пьяный император Петр, — дни Петровской эпохи останутся в истории русской поэмой, — и глава этой поэмы о том, как переливались колокола на пушки (колокола церковные, старых церквей, многовековых, со слюдяными оконцами, с колокольнями, как шатры царей, — на пушки, чтоб развеивать смуту, муть и голод в России) — хорошая глава русской истории, как

поэма. — И вот опять, шестой уже год, вновь кололась Россия надвое. Знал, Россия уйдет отсюда новой: я ведь вот видел того дворника, который съел свою жену, он не мог не сойти с ума, но мне не было страшно это, — я видел иное, я мерил иным масштабом. Новая горела свеча Яблочкова, от которой рябило в глазах, — шестой уже год. Знаю: все живое, как земля веснами, умирая, обновляется вновь и вновь.

3) Вот вчера, третьего дня, неделю, месяц назад — и неделю и месяц вперед — по России — по Российской Федеративной Советской Республике — от Балтики до Тихого океана, от Белого моря до Черного, до Персии, до Алтая — творилась глава истории, мне — как петровские колокола. — Утром ко мне пришел Смоленский и сказал, что в мужском монастыре сегодня собирают серебро, золото, жемчуга и прочие драгоценности, чтоб менять их на хлеб голодным. Мы пошли. — —

В старенькой церкви, вросшей в землю, с гулкими — днем — плитами пола и с ладанным запахом — строго — днем в дневном свете и без богослужения, — за окнами буйствовал весенний день, — здесь был строгий холодок, оставшийся от ночи. Мне — живописцу, — — художнику — жить от дать до дать, от образа к образу. В иконостасе, у церковных врат, уже века, в потемневших серебряных ризах хранился образ богоматери, и видны были лишь лицо и руки и лицо ребенка на коленях. Все остальное было скрыто серебром: к серебру оправы я привык, к тому, что серебро залито воском и на сгибах чуть позеленело. —

— И это серебро с иконы сняли, и этот образ богоматери без риз мне, отринувшемуся от бога, предстал иным, разительным, необычайным, в темных складках платья ожившей матери господней. Матерь божья

предстала не в парче серебряной, засаленная воском, а в нищем одеянии. Образ был написан много сотен лет назад: образ богоматери создала Русь, душа народа, те безымянные иконописцы, которые раскиданы по Суздалям: богомать — мать и защитница всех рождающих и скорбящих. Мне богомать предстала — древнею и новою Россией, подлинною Русью, из веков растущею в века, такою древнею, такою подлинной. Богомать предстала обнаженной, приближенной, пришла, приблизилась, склонилась, — была ключом для всей Руси — в защите всех скорбящих и рожденных, была ключом всех русских революций и бунтов. — Мне — художнику — богомать, конечно, только символ. — —

— А... за монастырем, за монастырскими стенами, под кремлевским обрывом текла разлившаяся Москва-река, и шли поля с крестами сельских колоколен. И был весенний буйный день, как века, как Русь. Образ богоматери — в темной церкви — звено и ключ поэмы. — В сумерки ко мне пришел сосед, курил, и, между прочих разговоров, он сказал, что дворник в сумасшедшем доме — повесился. А ночью пришла первая в тот год гроза, гремела, рокотала, полыхала молниями, обдувала ветрами, терпкими запахами первых полевых цветов. Я сидел — следил за грозой — на паперти у Николы, — у Николы-на-Посадьях, где некогда молился перед Куликовым полем Дмитрий Донской. — Была воробьиная ночь. Гроза была благословенная. —

— Ну, конечно:

— все это неверно, неисторично, все это только ключ, отпирающий романтику в истории — —

— И идут:

июль,

август,

сентябрь —
годы — —

— К о н е ц...

...И где-то, за полярным кругом, в льдах, в ночи на полгода бодрствует мистер Эдгар Смит. Льды выше мачт. И ночью и днем, ибо нет дней, на небе, над льдами горит северное сияние, вспыхивают, бегут, взрываются синие, зеленоватые, белые столбы беззвучного огня. Льды, как горы, направо, налево, на восток, на запад (и восток, и запад, и север, и юг смешаны здесь), на сотни верст одни льды. Здесь мертво, здесь нет жизни. Здесь северный полюс. — Уже много месяцев судно не встречало ни одного живого существа, — последний раз видели самоедов и среди них русского ссыльного, сосланного и закинутого сюда еще императорской властью, — этот русский ничего не знал о русской революции. Уже много месяцев как Эдгар Смит ничего не знает о том, что делается в мире, и телеграфист с погибшего радио, ставший журналистом, спит двадцать часов в сутки, в безделии, ибо вся жизнь стала. Но жизнь капитана Эдгара Смита идет по строжайшему английскому регламенту: так же, как в Англии, в семь обед, — и безразлично, в семь дня или ночи, ибо все время ночь и нельзя спать, как телеграфист. Перед обедом приходит стюарт, говорит меню и спрашивает о винах. Все судно промерзло, сплошная льдышка. После обеда, после сигары, Эдгар Смит поднимается на палубу, в полярный мороз: над головой безмолвствует, горит северное сияние, выкидываясь с земного шара в межпланетное пространство. Мистер Смит гуляет по палубе. Он бодр. — До утреннего завтрака в четверть первого, перед сном в постели мистер Смит думает, вспоминает: все уже прочитано. Капитан Смит редко уже думает об Европе, о революциях и войнах. Он часто вспоминает о детстве и много думает — о женщине: он знает, что в немногом, что отпущено человеку на тот недлинный его путь, который вечность ограничивает рождением и смертью, — самое прекрасное, самое необыкновенное, что надо боготворить, — величайшая тайна — женщина, любовница, мать, изредка он вспоминает ту страшную, осклизлую ночь, когда его брат Роберт застал его с миссис Елисавет; — он знает, что единственное в мире — чистота. Все же иногда он думает не о человеке, а о человечестве, и ему кажется, что в этой неразрешимой коллизии нельзя жертвовать человеком и единственные революции истинны, — это те, где здравствует дух. Мир капитана Смита ограничен: вчера на собаках уехали матросы, взбунтовавшись, в надежде пробраться на юг, на Новую Землю, — капитан Смит знает, что они погибнут. — Приходит стюарт, говорит об обеде. Капитан заказывает коньяку не больше, чем следует. Сигара после обеда дымна и медленна. И там на палубе безмолвствует мороз, воздух так редок и холоден, что трудно дышать, и горит, горит в абсолютном безмолвии сияние, выкидывая земную энергию в межпланетную пустоту.

Коломна, Никола-на-Посадьях,
Красная горка — Петров день 1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

При дверях 5
Чертополох 39
Мать-мачеха 109

1 9 3 0

ДВА РУБЛЯ 25 КОПЕЕК
ПЕРЕПЛЕТ 20 КОПЕЕК